



А. СЕРАФИМОВИЧ

РАССКАЗЫ

А. СЕРАФИМОВИЧ

РАССКАЗЫ



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1953

*Тексты печатаются по последнему
прижизненному изданию десятитомного
собрания сочинений А. С. Серафимовича
(Москва, Гослитиздат, 1940—1948)*

*Обложка художника
Н. ШЕБЕРСТОВА*

НА ПЛОТАХ

I

К студеному Белому морю со всех сторон надвинулись дремучие леса, а в лесах неисчислимые болота, озера, большие и малые реки.

Летом по этим лесам ни проходу, ни проезду, разве лодкой только по речке, а зимой мужики разъезжаются за сотни верст и до самой весны рубят лес для сплава.

Кузьма Толоконников еще с лета выправил себе билет на делянку в казенном лесу и, когда ударили морозы и леса завалило снегами, приехал на рубку.

Кругом на сотни верст ни жилья, ни человеческого голоса, только мерзлые, заваленные снегом болота да вековые леса вплоть до пустынного моря.

Неподвижно стоят вековые красные сосны, голые снизу, и лишь мохнатые верхи густо белеют насевшим шапками снегом.

Лесную тишину нарушает только мерное чоканье топора. Кузьма в рваном туго подпоясанном тулупе возится по притоптанному вокруг сосны снегу и раз за разом всаживает поблескивающий в морозной мгле топор. Как камень прокаленное морозом дерево, и со звоном отскакивает топор, — трудно рубить.

Высоко сквозь мохнатые верхушки сосен день и ночь морозно блестят звезды, солнце не показывается, — целый месяц тянется сплошная зимняя ночь.

Пар идет от кузьмова полушубка, и упорный топор все глубже входит в рану векового дерева; вырубленное у корня место темно зияет, как открытый рот. Кузьма засовывает топор за пояс и идет по глубоко протоптанной тропке

к избушке, — из-за снега виднеется лишь его мохнатая шапка.

У избушки, в закуте, сделанном из снега и сосновых ветвей, звучно жует сено мохнатая лошаденка. Кузьма выводит ее, подводит к подрубленной сосне, привязывает к хомуту свесившуюся с вершины веревку и гонит кнудом.

Лошадь налегает, снег визжит под копытами, веревка натягивается, как струна. Дерево вздрагивает, с секунду страшным усилием сопротивляется, и вдруг среди мертвого лесного молчания проносится треск, и, роняя шапки снега и ломая молодняк, валится на глубокие снега судорожно вздрагивающей мохнатой макушкой вековое дерево.

Тогда Кузьма, точно взбесившись, начинает прыгать и танцевать по снегу, катается, падает на спину, на живот, уминая снег, — надо проделать от дерева к реке тропку. Потом гонит лошадь, и она тянет по тропке мертвое дерево, и из-за снега видны лишь мотающиеся лошадиные уши. На льду Кузьма из нарубленных деревьев вяжет плот.

Под конец руки немеют от усталости, а лошадь вся побелела обмерзшей пеной и потом. Кузьма ведет, ставит ее в закут, наваливает сена, а сам забирается в избушку. Она тесная, черная от сажи и такая низкая, что нельзя выпрямиться.

В углу гряда камней. Разведет на них Кузьма жаркий костер, и ровной пеленой едко наполняет всю избушку дым, медленно выползая через дыру в крыше. Кузьма сидит на корточках на мерзлом полу, чтоб не задохнуться.

Когда прогорит, заткнет дыру. Принесет и навалит в углу пахучих хвойных ветвей и завалится спать. В избушке жарко, а за стенами в глухом молчании временами гулко стреляет — мороз дерет деревья.

Тихо, никого. Только иногда за стеной лошадь вдруг перестает жевать, прислушивается. Прислушивается и Кузьма — не волки ли подбираются. А за стенкой опять мерный жующий звук, и Кузьма крепко засыпает.

Просыпается он от холода, глянет — в полумгле белеют промерзшие стены, и плечом приходится вышибать крепко прихваченную морозом дверь.

А в лесу сквозь ветви смотрят все те же холодные звезды, стоит все то же пустынное молчание, залегает все та

же морозная мгла. И опять глухое чоканье топора, треск молодняка, судорожно ломающиеся мохнатые ветви и визг снега под копытами выволакивающейся дерево лошади.

Так день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем идет работа.

За всю зиму Кузьма два раза ездил в деревню за провизией.

Как-то раз случилось — повалилось подрубленное дерево; не успел Кузьма отскочить, накрыло его ветвями и придавило ногу толстым суком.

Кузьма закричал, и крик его разнесся по лесу. Он лежал притиснутый, как лисица в капкане.

Над лесом, должно быть, поднялась луна — сквозь просветы деревьев потянулись дымчатые полосы, и снег заиграл мириадами красных и синих огоньков. Чует Кузьма, стала одежда на нем хрупкой и ломкой — оледенела, и ресницы стали смерзаться.

Опять попробовал кричать Кузьма хриплым голосом, хотя знал, что никто не услышит. Несмотря на нечеловеческую боль, как-то ухитрился подтянуться к дереву и стал ногтями разрывать смерзшийся снег и землю. Кожа стала сдираться с рук клочьями, и все кругом окровавилось. Мороз жег свежие раны.

Докопался-таки Кузьма — нога опросталась, и он пополз, оставляя кровавые следы, к избушке.

Два дня валялся, да вспомнил про лошадь — либо волки съели, либо замерзла.

Преодолевая боль, выполз из избушки. Лошадь, прихваченная к дереву веревкой и исхудавшая до костей, тряслась и глядела на хозяина печальными глазами. Молодые елочки были обглоданы кругом под корень. Кузьма перерезал веревку, и лошадь, шатаясь, побрела в закут.

Целую неделю провалялся Кузьма, а потом снова принялся за работу.

II

Прошла зима. Солнце долго стало ходить над лесом, а вместо ночей приходил полусумрак.

Потянули с юга птицы.

Стаяли снега, и лесное царство необозримо потопило водой, и в ней хмуро отражались угрюмые сосны.

Подняло кузмов плот, и понесли вешние воды.

Изредка ударяет Кузьма правильным веслом, не дает плоту сбиться с русла. Клонит сон, а нельзя спать — набежит на дерево или на мель, засядешь, а то и вовсе разобьет плот.

Тихо.

Полумрак белой ночи недвижно и призрачно дремлет над водною ширью, над потопленными лесами, над едва синеющей полоской дальнего берега, и чудится — это не ночь, а дремотно потускнел неясный день.

Безжизненные туманы дымчато висят над водой, отражаясь призрачными очертаниями.

Ветер чутко дремлет, затаившись в иглистых ветвях, не зарябит уснувшей воды, не шелохнет зеленой хвои.

Тихо.

Только под бревнами немолчно бьется говорливая струя и навевает смутную дрему, и смежает сон отяжелевшие очи.

Кузьма встряхивает головой и оглядывается. Весенние воды быстро несут плитку. Красные сосны, стройные елочки, погруженные до половины в воду, безмолвно бегут по обеим сторонам, теряясь вдали в зеленых куцах столпившихся деревьев.

— Го-го-го-го-го...

«О-о-о-о-о...» катится далеко по водной глади, и встрепенувшееся эхо доносит назад ослабленные отголоски.

Птица испуганно летит с сосен, стаи пролетных уток, шлепая крыльями, беспокойно поднимаются с воды, а лебеди, изогнув длинные шеи, белея в воде отражениями, чутко прислушиваются к лесному эху.

Кузьма не спал подряд несколько ночей. Один, некому пособить, не с кем словом перекинуться — кругом лес да вода да потопленные болота.

— Какой, бишь, сегодня день? — припоминает Кузьма и не может вспомнить.

Он кладет по пальцам, выходит — понедельник. Значит, целую неделю правит. Время холодное, вода — что лед, так и жжет. Приходилось по пояс, по плечи бродить. Худая одежонка намокнет, зубы колотятся, в челюстях больно, руки, ноги сводит, а согреться нечем: берега нет, кругом вода да деревья.

Плитка бежит не останавливаясь. Кузьма и не пра-

вит — вода по самому руслу несет. Он присаживается на корточки, уставляется глазами на журчащую воду и думает.

Это все одни и те же думы о хозяйстве, о том, сколько выручит с плотов, как сведет концы с концами, о том, что скоро выйдет на широкую Двину, там будет вольготнее.

Не заметил, как задремал, Кузьма. Да кто-то как толкнет и ахнул над самым ухом:

— Ай спишь!..

Вскочил Кузьма, все задрожало в нем, а это плот стукнуло о дерево. Могло так и разбить. Отпихнулся шестом Кузьма и стал внимательно править.

Кругом говорила птица, гоготали гуси, крикали неугомонные утки, белые лебеди важно выплывали на затопленные полянки. Над лесом зазолотились тучки. Поднялось солнце и залило волнами света и тепла и водную гладь, и потопленный лес, и Кузьму на плитке.

По кустам видно, быстро сбывает вода. Кузьма стал упираться шестом, и плитка побежала. Надо было поскорее пройти мелкое место впереди, пока не ушла вода.

Снизу добежал по воде людской говор, стук топоров, и эхо повторило далеко по лесу. Когда Кузьма выплыл за поворот, увидел — вся река заставлена плотами. Над рекой стон-стоном стоял. Плоты засели на мелком месте, и народ бился, стаскивая их.

И, нажимая на ó, Кузьма закричал:

— Робыта... пододвиньте-ка плот-от с правой руки, который на воде, а то не протить мне... посуньте-ка его на низ...

— Ступай под берегом... вишь ты, енерал...

Мужики были обозлены, что засели, и не давали дороги. Кузьма видел, что под берегом ему не пройти, все равно засядет. Он знал, что мужики помогут ему сняться, но только тогда, когда снимут свои плоты, а ясно было, что они пробьются целый день.

— Робыта, посунь плот-от, — плитка у меня махонькая, духом проскочит, а под берегом все равно сяду — вишь, пни да песок обмелился...

Мужики делали свое дело; в свежем утреннем воздухе стоял стук топоров, говор.

Видит Кузьма — добром не возьмешь, уперся шестом и направил подхваченную течением плитку углом в шов

загораживавшего плота. С треском раздался шов, бревна разошлись и всплыли, и, расталкивая их, быстро прошла, подгоняемая шестом, плитка. Град ругательств посыпался на голову Кузьмы.

— Ничаво... пушай себе... Под берегом-то мне неспособно... ничаво... — говорил Кузьма, гоня шестом плитку. Мужики, отчаянно ругаясь, стали накидывать с соседних плотов на плитку канаты. Кузьма мигом обрубил их топором, и, пока мужики вытравляли из воды обрубленные концы, плитка ушла.

— Ничаво... пушай... Главное, неспособно под берегом-то...

Плоты с кричавшими мужиками с гомоном и стуком стали уходить вверх по реке. От них отделилась лодка и быстро пошла за плиткой. Похолодело на сердце у Кузьмы. С тем, что мужики неизбежно должны были избить его до полусмерти, он еще мирился, но в отместку они непременно порубят связи и распустят все деревья по реке.

И Кузьма заревел диким и страшным голосом:

— Уб-бью!.. не подступайся!..

Лодка набежала, и мужики приготовили багры зацепиться. Кузьма схватил огромное бревно, раскачал на руках и двинул в борт лодки. Бревно с треском высадило целую доску. Лодка качнулась, глубоко черпнула, а мужики от толчка попадали друг на друга. Пока они справлялись, плитка ушла по течению.

Кузьма, красный и потный, упирался шестом и все оглядывался, пока, наконец, плоты не пропали из вида за поворотом, и вытер с лица пот.

— Под берегом... неспособно, это нам неспособно...

Берега пошли высокие, весенние воды так и рвались в узких местах, и плитка неслась, как под парусами. На высоком берегу сосны тихонько качали мохнатыми ветвями и пропадали в быстром беге назад.

Кузьма опять остался один. Он правил.

Вверху стояло весеннее небо. С юга тянули птицы, и в голове Кузьмы лениво и смутно тянулись неясные, отрывочные и смутные мысли.

Кончился долгий день, и опять наступила прозрачная, белая, как потускневший день, ночь. Кузьма приплыл к большой реке. Она широко раздвинулась, и противопо-

ложный берег чуть синел тонкой полоской. Зеленели острова. Попыхивая клубами белого пара, бежали пароходы. Острыми крыльями белели паруса лодок. Ветер вздымал водяные горы, и с шумом и плеском катились они бесконечными рядами. В устье реки, по которой пришел Кузьма, набилось плотов видимо-невидимо, — ждали, пока стихнет грозная Двина. Кузьма завел свою плитку в тихую заводь, привязал канатом к дереву и стал дожидаться, когда стихнет непогода. Целую неделю просидел на берегу Кузьма, совсем было проелся.

Наконец стихло. Огромная река спокойно улеглась в широкую гладь, слегка подернутую мелко-сверкающей шелковой зыбью.

В синеющей дымке длинной цепью потянулся бесконечный караван плотов.

Кузьма также вывел плитку из заводи. Подхватила ее могучая река и понесла, колыхая на мощных хребтах.

И побежали мимо далекие берега, развертываясь бесконечной панорамой.

Вставали белые громады оголенных скал алебастра, играя в кристаллах золотистыми лучами солнца, и темные расселины глубоко прорезали их ребра, точно морщины тяжелых дум на челе великана. Угрюмо высились неподвижные громады в немом молчании, внимая ропоту говорливой волны.

Проходили мимо неподвижные скалы, и только белели вдали их обнаженные ребра, как белеют кости на мертвой равнине.

А взамен надвигался угрюмый бор и шумел на высоких берегах, качая вершинами столетних сосен и елей, и чудилось — сквозь смутный шум бежала смутная дума о минувших веках, когда редко стучал топор в сердце великана-бора, когда еще не дымились высокие трубы заводов в устьях рек и по самым рекам бесконечными караванами не тянулись безжизненные тела лесных гигантов.

Но отступил и дремучий бор и только вдали едва синел зубчатой полосой. По скатам холмов тянулись удлинненными четырехугольниками черные пашни, и пахарь вел соху, и лошади медленно ступали по взрыхленному пару.

Из-за поворота вдруг появлялись деревни, весело белея вдали церквами и играя в золоте лучей золотом крестов.

Большие почернелые двухэтажные избы глядели с холмов на широкий простор, где бежали, попыхивая белыми клубами пара, пароходы, неуклюже тянулись барки и медленно надвигались тяжелые колонны сплаваемого леса.

Когда же царица-река, разбитая зеленеющими островами на множество рукавов, сливалась вдруг могучим движением в одно русло и до синеющего горизонта протягивалась без изгиба сверкающей полосой, тогда, насколько только хватал глаз, белели в весенней дымке высокие колокольни и играли на солнце золоченые кресты.

Громадная река, точно дорогим ожерельем, была унизана деревнями и селами.

Кузьма рассеянно глядел на уходившие мимо берега.

Показался Архангельск.

Медленно надвигается он высокими трубами заводов, белыми постройками, золочеными главами собора и целым лесом мачт и рей над рекой.

Кузьма правит к городу. Близо уже.

— Слава богу, все благополучно... Нонче в сдачу — и домой.

На переднем плоту, что шел перед Кузьмой, мужики вдруг забежали, кричат и что есть мочи отгребаются в сторону.

Кузьма замер: разрезая волны, быстро надвигалась темная громада морского парохода. На мостике капитан стоит, рукой машет, в рупор что-то кричит. Из черной трубы вырвался белый клуб пара, зазвучала упругая медь, и далеко убежали по реке тревожные отголоски.

Кузьма как сумасшедший стал отбиваться в сторону, но не успел и двух раз вынуть весла из воды — раздался треск: пароход, как нож репу, разрезал передний плот. Вокруг по вспененным волнам всплыли высвободившиеся бревна и закачались в бешеной пляске, с глухим стуком ударяясь в железную обшивку парохода, точно обрадованные, что вырвались на волю из крепких пут. Мужики, видя, что плота не спасти, кинулись в лодку и отъехали.

Кузьма мгновенно сообразил, что он уже не успеет отбиться в сторону и что его плот неминуемо постигнет такая же участь. Он бросил весло, схватил огромную дубину и кинулся навстречу быстро надвигавшейся громаде.

У него не было никакой определенной, осознанной цели, он делал это механически, совершенно инстинктивно, как мы инстинктивно закрываемся рукой от удара. Крепко нажал бревно одним концом к груди, а другой выпятил вперед.

Ни о чем не думал, ничего не соображал. Только пронесли обрывки:

«С мели снялся... от мужиков ушел... бурю пронес господь... нонче в сдачу...»

Он не видел, как засуетились на пароходе матросы, видя, что он не уезжает с плотом, и боясь, что его убьет бревнами, не слышал, как взбешенный капитан посылал ему в рупор громовым голосом ругательства ломаным русским языком, как в воздухе свистнула, разворачиваясь кольцами, бечевка и, задев по лицу, скользнула в воду, и кто-то крикнул: «Держи»... Он только чувствовал, как на него надвигалось роковое, как надвигается ужас смерти.

Ему не приходило на мысль, что через секунду, через одно мгновение бревна переломают кости, разmozжат голову, и он, как ключ, пойдет ко дну.

Он изо всех сил уперся в плот, как бык, наклонил голову и, затаив дыхание, ожидал удара. Он не сознавал ясно, чего, собственно, хочет, — это был порыв отчаяния.

Прошло всего несколько секунд, а они ему показались столь длинными, как те бесконечные зимние ночи, когда он сидел один в своей избушке перед костром в глухом лесу, и снежный ураган ревел за стенами, и гудели, качаясь, вековые сосны, и дым, клубясь, расплзался по всей избушке, а в углах при красноватом отблеске костра пробежали темные тени.

Плот подняло и опустило, и перед Кузьмой появились темные бока парохода, вертикально подымавшиеся из воды, и, грозно белея, клокотала вокруг пена. В воздухе мелькнули два багра, зацепились за кузьмову одежду, но худая одежонка не выдержала, и багры мелькнули назад с оборванными клочьями.

Что-то с силой толкнуло его в грудь, точно это был удар огромного кулака. Он отлетел, и волна два раза прошла над головой.

На минуту Кузьма потерял сознание. Когда очнулся, он лежал на своем плоту, который, скрипя, подымался и

опускался, и расходящиеся волны иной раз забегали по бревнам до его места. Вверх по реке уходила громада, краснея издали трубами, из которых вырывались тяжелые металлические вздохи.

Кузьма с трудом сообразил, что с ним произошло: разбитый плот... суета на пароходе... черные вертикально подымавшиеся металлические стены, и теперь... тупая боль в груди.

Он попытался было встать на ноги — не смог, дополз до края плота и стал мочить себе голову и грудь — и тут только пришел окончательно в себя. Пароход задел плот боком, а он со своим бревном смягчил удар.

Кое-как прибился Кузьма к берегу, привязал плот, отправился в контору, сдал лес и получил деньги.

И когда вечером, отдохнувший, он шел домой, все кругом повеселело: весело сияли золоченые кресты и главы над белеющими церквями, весело посвистывали по реке пароходы, суетливо шлепая по спокойным водам красными колесами, веселый гам висел над судами, шкунами, барками и громадными морскими пароходами, столпившимися на реке целым городом.

Кузьма шел и приятно ухмылялся, поглядывая на едва белевшие на противоположном берегу деревни.

«Не чужим умом — своей головой выкрутился».

И, ухмыляясь, опять подумал:

«Добрая голова... каждому пожелаю».

Потом стал соображать, какой дорогой пройти в свою деревню, чтоб миновать трактир на берегу и не загулять. Он остановился и соображал долго и трудно, глядя в землю, но все дороги, которые мысленно представлял, сходились и шли мимо того трактира. Кузьма махнул рукой и пошел в путь-дорогу.

СТРЕЛОЧНИК

I

— Эй, Иван, беги, начальник кличет!

Иван, стрелочник, мужичонка лет сорока, с испитым, истомленным лицом, весь в саже и масле, торопливо поставил в угол метлу, которою он сметал снег с платформы, и побежал в дежурную комнату.

— Чего прикажете? — проговорил он, вытягиваясь у дверей.

Начальник, не обращая на него внимания, продолжал писать. Иван стоял, вытянувшись и держа шапку под мышкой.

Он не смел еще раз спросить, а между тем дорога была каждая минута: он сегодня дежурит с восьми часов утра, дела по горло, надо станцию убрать к завтрашнему дню, убрать путь, осмотреть стрелки, тяжи к семафорам, вычистить все лампы и трубки, налить керосином, наколоть и натаскать на два дня праздника дров в станционные помещения, убрать зал первого и второго класса, — и еще многое другое мелькает у него в голове, что нужно сделать. Уже пятый час, уже смеркается, надо огни зажигать на стрелках.

Иван приложил заскорузлую ладонь ко рту и осторожно кашлянул, чтобы обратить на себя внимание.

— На стрелках огни не зажигал еще? — проговорил начальник, поднимая голову.

— Никак нет, сичас побегу зажигать.

— Зажжешь, — пойдй почисть из-под коровы: по колону в навозе стоит; никогда во-время ничего не делается. От этого и копыта болеют.

— Поезд товарный номер пять через десять минут, — осторожно вставил Иван.

— Ну, проводишь поезд, тогда...

— Слушаю-с.

Возражать не приходилось. Иван притворил за собою дверь и бегом прошел в ламповую. В крохотной комнатке, вроде чуланчика, по полкам стояло штук двадцать ламп самых разнообразных размеров, с блестящими чисто вымытыми трубками. Иван отобрал из них несколько штук, поставил в широкий из толстой жести ящик и пошел к стрелкам.

Было тихо. Мороз крепчал и щипал уши, лицо и руки. Зимние сумерки тихо спускались на станционные здания, на полотно, на дома обывателей. Снег хрустел под ногами. Там и сям проходили фигуры спешивших покончить свои дела людей, в ожидании отдыха в завтрашний праздник от повседневной нескончаемой работы и вечных забот.

Иван бегал от стрелки к стрелке и ставил лампы. По всему пути там и сям зажглись зеленые и красные огни, а на небе тоже зажигались одна за другой звезды, играя и искрясь сквозь прозрачный морозный сумрак.

II

Далеко-далеко с железнодорожного пути потянулся однообразный, долгий и унылый звук; он подержался в морозном воздухе и замер. Иван с секунду прислушался, потом побежал в будку, схватил фонарь, рожок и что есть духу пустился по полотну за станцию к самой дальней стрелке, что одиноко горела красной звездочкой среди снежной пелены пустынного поля. Бежать пришлось далеко. Но вот и стрелка. Иван взялся за рычаг, нажал ногой и навалился: тяж заскрипел, потянул рельсы и с визгом передвинул их на запасный путь. Вдали что-то зачернелось неопределенное и в то же время неуклюжее; затем оно стало расти и удлиняться все больше и больше, точно выползало откуда-то; блеснули два огненных глаза, и теперь уже ясно и резко зазвучал свисток локомотива. Звук вырывающегося из локомотивного свистка пара разносился во все стороны и стоял в морозном воздухе; казалось — ему и конца не будет. Уже вот и поезд весь виден,

изогнувшийся на закруглении, уже и рельсы стали подрагивать от надвигающейся громадной массы, а нестерпимый звук все режет ухо. Но, наконец, он оборвался и зазвучал три раза отрывисто и коротко.

Тогда Иван приставил рожок к губам, подобрал их особенным манером, надулся, покраснел и заиграл. И в ответ тому, что катилось, надвигалось и грохотало вдаль, потянулся тонкий, унылый и жалобный звук рожка, от которого щемило сердце. Он тянулся безнадежно — все на одной и той же ноте, среди зимних сумерек, среди снежной равнины, в виду уходивших в бесконечную даль рельсов.

Казалось, этот жалобный звук рожка говорил о том, что все равно некуда спешить, что кругом все то же, что впереди такие же станции, каких миновали уже с сотню, те же станционные здания, звонок, платформа, начальник, служащие, разбегающиеся рельсы запасных путей; что тут так же уныло и скучно и каждый занят своим делом, своими мыслями, каждый ждет не дождется встретить праздник в семье, и никому нет дела до тех, кто теперь мерзнет на тормозных площадках вагонов и напряженно всматривается вдаль с площадки с грохотом катящегося локомотива. Но потом рожок как будто раздумал и весело и коротко протрубил три раза: тру... ту-ту... дескать, хоть и скучно, и уныло, и все то же самое, а все-таки ведь можно забежать на станцию, выпить рюмку водки, закусить скверной селедкой, погреться, покалякать со служащими, а там — и опять в дорогу. Ведь и жизнь вся такая: труд, труд, изо дня в день, недели, месяцы, годы, и забудешь, и не знаешь, что такое отдых. А вот когда и дождешься, наконец, отдыха, словно среди глухой степи на станцию поездом приедешь, так заворачивай-ка на третий запасный путь.

И локомотив послушался. Вот он уже совсем накатывается на стрелку, и пыхтит, и отдувается, и пар его дыхания с шумом вырывается из ноздрей и стелется по обеим сторонам белой пеленой по мерзлой и молчаливой земле. Он, видимо, начинает задерживать движение, вагоны набегают, сталкиваются и гремят буферами. Иван налег на рычаг, и поезд, хлопая, стуча и визжа на переходе железом о железо, стал переходить на запасный путь. Мимо стрелочника прошел локомотив, тендер, потом пошли один за другим вагоны. Их прошло уже штук двадцать, три-

дцать, а они, все так же набегаая и сталкиваясь, катятся мимо, и редко-редко где виднеется закутанная человеческая фигура, закручивающая тормоз. Это был громадный груженный товарный поезд. Наконец мимо прошел последний вагон и покатился прочь, посвечивая в морозной мгле красным фонарем.

Стрелочник пустился догонять поезд, чтобы пропустить его на следующей стрелке на другой запасный путь. Хотя поезд сильно замедлил ход и шел все тише и тише, догонять его было страшно трудно. Иван, задыхаясь и чувствуя, что ноги у него подкашиваются, бежал у заднего вагона, не в силах схватиться. Раза два он схватывался, но замерзшие, онемелые руки срывались, и он едва не угодил под колеса. Наконец-таки он уцепился за подножку, взобрался и несколько минут неподвижно держался за перекладину, не будучи в состоянии отдышаться. Поезд совсем замедлил ход и шел мимо станции; платформа тихо плыла назад.

Стрелочник соскочил и побежал в обгонку поезда к будке, куда сходились проволоки-тяги от нескольких стрелок. «Ну и, дьявол, здоровый!» — бормотал он, нагоняя голову поезда. Он быстро вскочил в будку: тут торчала целая куча рычагов от стрелок семафора. Он нажал один из них, и поезд, пройдя на запасный путь, стал вдали от станции в поле: ему нужно было дождаться и пропустить почтовый поезд. Стрелочник перекинул рычаг на главный путь, по которому должен был пойти почтовый.

«Ну, теперь можно из-под коровы почистить», — решил он и направился через станцию на задний двор.

— Ты куда? — встретил его помощник начальника.

— Начальник велели из-под коровы...

— А платформа почему не подметена?

— Начальник велели из... под...

— Во-время надо делать. Завтра праздник, а у нас на станцию не влезешь, гадость по колено. Сейчас подмети!

— Слушаю.

Помощник было пошел, но приостановился и крикнул:

— Да дров натаскай ко мне на вечер дня на два, а то вас, чертей пьяных, на праздник и за хвост не поймаешь.

— Слушаю.

Помощник ушел. Иван взял метлу и стал подметать платформу, «И удивительное дело, — рассуждал он, ши-

роко захватывая справа налево метлой, — теперь одному человеку хучь разорваться. Об семи головах будь, и то не поспеешь...»

— Эй, Иван!

— Чего изволите? — проговорил стрелочник, подбегая к дверям багажной, где стоял заведующий багажом.

— Куда ты запропастился, черти тебя носят! С ума ты сошел или ради праздника натрескаться успел: до сих пор в первом классе лампы не зажег. Пассажиры съезжаться начинают, а там хоть глаз выколи. Не хочешь служить, так убирайся ко всем чертям...

— Запаматовал, Василий Василич. Иван Петрович велели платформу подмести, а господин начальник — из-под коровы...

— Платформа, платформа! Во-время все надо делать; ступай сейчас — зажги.

— Слушаю.

Иван поставил метлу и побежал в зал первого класса зажигать лампы. Тут уже стали собираться пассажиры, и Ивану в их фигурах, движениях и в том, как они расхаживали по залу и давали носильщикам на билет, виделось молчаливое ожидание, что вот, мол, наступает праздник и можно будет отдохнуть от дел и забот. Иван зажег лампы и побежал дometать платформу. Покончив с платформой и опасаясь, как бы его опять куда-нибудь не послали или еще что-нибудь не заставили делать, он поспешил в дровяной склад. Дров колотых не было, пришлось колотить. Иван с усердием принялся за работу. Надо было заготовить на все станционные помещения, но этого мало: надо было нарубить и натаскать для комнат и кухни начальника и помощника. Правда, у них была своя прислуга, и он, собственно, не был обязан этого делать — на нем лежала исключительно обязанность смотреть за стрелками и за путями, — но ведь если начальство приказывает — некуда деваться. И Иван продолжал с криком взмахивать топором и отбрасывать расколотые поленья. Груда колотых дров росла все больше и больше.

«Должно, будя!» — решил он и стал увязывать поленья в громадные вязанки, чтобы скорее отделаться — разнести дрова. Но когда он взвалил себе на спину первую вязанку, то почувствовал, что захватил слишком много.

Пошатываясь, хватаясь за приголоку и стены, пошел он, сгибаясь под огромной тяжестью, наваленной у него на спине. И все-таки он сбрасывать не хотел: хотелось разом и скорее разнести дрова. Четыре вязанки он разнес по станционным помещениям, надо было еще нести начальнику и помощнику во второй этаж, а это была самая тяжелая работа; колени гнулись, ноги дрожали. С напряжением, с усилием переступая со ступени на ступень, он каждую минуту ожидал, что совсем с дровами полетит по лестнице. Наконец он добрался до кухни помощника начальника и свалил дрова.

— Чего же поздно так? Из-за тебя жди, приборку нельзя кончать, полы мыть, все одно заляпаешь, — встретила Ивана кухарка помощника, сварливая, неуживчивая баба с красным носом и всегда «с зарядом».

Иван озлился.

— Да ты бы пораньше натрескалась да кричала бы, что поздно! Что же мне для тебя треснуть, что ли?

— Ах ты, пьяница! Ах ты, несчастный! Да будь ты трижды от меня, анафема, трижды, трижды проклят! Да я тебя, нечистая твоя морда, на порог не пушу теперя! Да я барину сейчас доложу... — И кухарка сделала решительный жест итти в комнаты.

Иван струсил.

— Макрида Спиридоновна, дозвоьте... да я к вам, значит, с нашим почтением и завсегда рад... Може, вам помойку вынести?

И, не дожидаясь ответа, подхватил лохань, сбегал и вылил. Спиридоновна смягчилась.

— Ну, натаскай же воды.

Иван натаскал воды.

— Лучины, что ли, наколол бы для самовара? В праздники-то неколи будет.

«Ну и баба озорная, что будешь делать с ней, — думал Иван, щепля лучину. — Тут, господи, дыхнуть неколи, а тут она. И ничего не поделаешь: пойдет жалиться».

Отделавшись и бормоча себе под нос, что «человека совсем заездили», Иван отправился в сарай, где стояла корова начальника. Она меланхолически пережевывала жвачку и равнодушно глядела на вошедшего Ивана.

— Но, идол! — крикнул Иван. — Поворачивайся, сенной мешок! — И он со злобой ударил железной лопатой

корову. Та покорно отодвинулась, поднимая ушибленную ногу. Иван начал работать, с ожесточением кидая навоз.

— И откуда навозу с неё столько! Только и знает, что жрет и пакостит; кабы столько молока давала, а то даром сено жрет. Да меня озолоти — не стал бы держать такую животину. Да и начальник... Мало, что ли, молока на базаре? — пошел да купил, были бы денежки! А то эдакую прорву держи, она тебя проест всего. Гляди — одного навозу наворочала сколько! У-у, тварь, чтоб те околеть!

И он опять с сердцем ткнул лопатой ни в чем не повинную корову, которая решительно не знала, чем заслужила такую немилость, и все жалась к стенке.

Ивана прошиб пот. Он чувствовал страшное утомление и то, что дольше не в состоянии работать; но надо было кончать.

— Кончу, — потить выпить рюмку с устатку, а то не вытянешь до смены.

Наконец навоз был убран. Иван, толкнув еще раза два корову, поставил лопату в угол и пошел на станцию.

III

В буфете за столом грелись чаем кондуктора пришедшего товарного поезда. Иван подошел к стойке, взял стаканчик водки, выпил, крякнул, закусил кусочком вонючей рыбы и купил сороковку, чтобы дома встретить праздник честь-честью. Сунув сороковку в карман, он отправился в будку, захватил ключ, молоток, чтобы осмотреть путь перед приходом почтового, и остановился в раздумье: если таскать с собой вино, то можно еще как-нибудь разбить драгоценную бутылку, если же оставить в будке, сменщик явится, непременно утащит водку: уж у него нюх на этот счет собачий. «Сбегаю домой, отнесу», — решил Иван и, торопливо сбежав с полотна, направился к маленькой хатенке саженьях в тридцати от полотна, в которой приветливо светилось маленькое окошечко.

Иван заглянул в него: крохотная комнатка с огромной печью, всегда такая грязная, неудобная, заставленная горшками, кадушечками, всяким домашним хламом, теперь была прибрана, глиняный пол чисто смазан, стены

выбелены, а полкомнаты занимавшая печь вся разрисована синими петухами. В переднем углу, под образами, стол был накрыт грубой, но чистой скатертью. На образе теплился восковой огарок, трепетно освещая низкий потолок, синих петухов и русые головки ребятишек. Их было у Ивана восемь человек; один качался еще в подвешенной к потолку «зыбке».

Ребятишки, видимо, с нетерпением ожидали тятю, чтоб приступить к ужину, несмотря на то, что сон клонил их головенки. И эти синие петухи, и выбеленные стены, и скатерть на столе — все производило на Ивана впечатление отдыха и покоя, которые ждут его.

Он постучался в окно. Вышла хозяйка.

— Кто тут? — проговорила она, всматриваясь при слабом мерцании звезд.

— Возьми, во захватил, в будке-то упрут.

— Али с дежурства?

— Нет, сейчас путь иду оглядеть.

— Долго не сиди после дежурства, ребятишки спать хотят.

— Через полчаса буду: зараз почтовый придет; провожу — и домой.

Иван вбежал опять на полотно и, посвечивая фонарем и постукивая молоточком, пошел по рельсам, изредка подвинчивая ненадежные гайки. Он осмотрел стрелки, попробовал тяжи — все было в порядке — и направился к станции.

IV

Огромный, с двумя паровозами, почтовый поезд тяжело и с грохотом катился по рельсам. Снежные вихри крутились из-под колес, и пар, клубами вырываясь из двух труб его локомотивов, далеко стлался белой пеленой. Весь поезд был битком набит публикой. Кондуктора ходили по вагонам, отбирая билеты. Впереди грубо зазвучал паровозный свисток.

Пассажиры снимали с полок чемоданы, узлы, увязывали подушки. Поезд стал задерживать ход. Тормоза со скрежетом зажимались к колесам.

Иван, как только поезд подошел к платформе, по знаку начальника дал первый звонок, — здесь остановка была

всего на две минуты, — бросился в багажный вагон и стал вытаскивать багаж высаживающихся здесь пассажиров.

Он изо всех сил раскидывал чемоданы, сундуки, тюки, разыскивая нужные номера. Когда багаж был выгружен, Иван повез его на тележке в багажную.

— Иван, какого же ты чорта?! Второй звонок, тебе говорят...

Небольшой колокол отчетливо и звонко ударил два раза.

— Беги, отдай разрешение!

Стрелочник схватил разрешение и пустился по платформе к паровозу, толкая публику. Поезд был громадный, и надо было почти весь его пробежать. Машинист, перегнувшись с своей площадки, взял у запыхавшегося Ивана путевую.

— Третий!.. — Чувствуя, как колотится у него сердце, кинулся опять к звонку и ударил три раза. Свистнул оберкондукторский свисток, паровоз отозвался сердито и нехотя, и поезд, раздвигаясь и визжа железом, стал трогаться. Платформа пошла назад, а вагоны, раскачиваясь, мерно постукивая колесами на стыках, покатались по рельсам друг за другом.

Иван с облегчением вздохнул. Он дежурит через день и каждый раз в десять часов ночи точно так же надрывается, выгружая багаж, точно так же ему нужно и давать звонки, и передавать разрешение машинисту, и бежать открывать семафор — то есть каждый раз приходится исполнять обязанности, которые должны быть распределены по крайней мере между двумя человеками; и это в продолжение двадцати двух лет!

Эти двадцать два года съели его. Ему казалось, что он только и умеет делать и всю жизнь только и умел делать — это бегать по стрелкам, подавать сигналы, давать звонки, зажигать лампы. Работа эта казалась наиболее легкой, подходящей, благодарной. Ему казалось, что, кроме нее, он больше ни на что не способен, не годен. У него было восемь детей, и он получал пятнадцать рублей в месяц. Потому-то, когда он бегал по стрелкам, пропускал поезда, ставил фонари, чистил из-под коровы, подметал платформу, он носил с собою одну и ту же мысль, одно и то же ощущение: страх, не сделал ли он чего-нибудь «не так», не сделал ли он упущения, не вышло бы чего-

нибудь скверного. Двадцать два года сделали свое дело, и ему никогда не приходило в голову, что он мог бы и иначе устроиться. Вне железнодорожного порядка дня, вне станции, путей, платформы он себя не представлял. В десять часов вечера с отходом почтового поезда кончалось его дежурство, и только тогда вместе с глубоким вздохом облегчения с него сваливалась давящая тяжесть страха и ожиданий, как бы чего не случилось.

Так и сегодня. Когда поезд прошел платформу, Иван, испытывая необыкновенную слабость, которая всегда охватывала его по окончании дежурства, и чувствуя в то же время, как сваливается с него тяжесть, поднял руку, чтобы перекреститься, и... замер. Страшная мысль прожгла его: *он забыл перекинуть рычаг стрелки* на главный путь по проходе товарного поезда, на который теперь несея почтовый. Весь страх, все отчаяние ответственности охватили его. Без шапки, с побелевшим лицом, кинулся он бежать туда, где, удаляясь, светился красный фонарь уходящего поезда.

Поздно!.. Вот, вот раздастся оглушительный треск, и к небу в белесоватом ночном сумраке подыметесь над полотном темная громада, неподвижная и зловещая, и нечеловеческие бессмысленные крики наполнят морозную зимнюю ночь.

Чтоб не слышать их, Иван кинулся на боковой путь, по которому в этот момент шел дежурный паровоз. Задышавшись, добежал он и бросился на ярко освещенные рефлекторами приближавшегося паровоза рельсы.

В эти несколько секунд вся его жизнь, точно озаренная отблеском, предстала пред ним, законченная сегодняшним днем: дежурство... платформа... лампы... дрова... корова... печь с синими петухами... русые головенки и... роковая стрелка!..

В этот момент страшного напряжения вдруг с поразительной отчетливостью представилось, как он перекинул стрелку на главный путь... Боже мой, ведь *он правильно ее поставил!*.. Он спутал, и почтовый поезд благополучно шел по главному пути...

Иван отчаянно закричал и сделал нечеловеческое усилие скатиться с рельсов, но в эту самую секунду накатившийся паровоз обрушился на него всей массой железа, стали, раскаленного угля и... перервал ему дыханис.

Машинист дежурного паровоза стоял на площадке, поглядывая на бежавшие навстречу и ярко освещенные рельсы. Мелькнула одна стрелка, другая. Он взялся за свисток и несколько раз дернул. Застучали колеса на переходе, захлопали, мелькнул зеленый огонь, будка вынырнула из темноты и опять пропала. Вдруг он как сумасшедший бросился к регулятору и закричал не своим голосом: «Тормоз!» А уже помощник сам изо всех сил тормозил, отчаянно налегая на рукоять.

— Господи, никак человека зарезало!..

Заскрипели тормозные колодки, завизжали колеса, пар рванулся в открытые клапаны. Из-за паровоза донесся нечеловеческий вопль: «Ай бат...» — и оборвался. Паровоз пробежал еще с сажень, остановился.

Соскочили машинист с помощником наземь — ничего не видать: сечет крупой в темноте ветер очи. Бросился помощник за фонарем, осветил им, видит — лежат поодаль вдоль рельса две отрезанные ступни, а за колесами под паровозом виднеется человек.

— Ведь зарезало, царица небесная!..

Побежал помощник на станцию, сбежался народ. Отдвинули паровоз назад. Кто-то наклонился над лежавшим:

— Помер!

Все смолкли, сняли шапки, перекрестились.

Иван неподвижно лежал между рельсов с насильственно повернутой набок головой, с закотившимися глазами. Кольцо фонаря, надетое на правую руку, сорвало у кисти кожу и завернуло ее, как кровавый рукав, к самому плечу; сама рука была вывернута в плече и закинута за голову, а ребра левого бока глубоко вдавлены в грудь.

Среди собравшихся слышался сдержанный, подавленный говор: спрашивали, как случилось несчастье, не был ли покойник выпивши, кричал ли, как на него набежала машина. Никто ничего не мог толком ответить.

— Только это я выглянул, — говорил изменившимся от волнения голосом машинист окружившей его кучке, — вижу, огни на стрелке засветились, думаю — стану сейчас; только что хотел было повернуться, гляжу, а он тут, у самого фонаря... Господи!.. кинулся я... а он как закри-

чи-ит... потемнело у меня, знаю, что тут вот под паровозом человек, и ничего не могу сделать... — Голос у машиниста оборвался.

Ветер набежал, зашумел и посыпал на мертвеца и всех стоявших белой крупой. Все замолчали. В паровозе угрожающе хлопотал сдавленный пар. Машинист поднялся на площадку и повернул какую-то ручку: пар с бешенством вырвался низом, окутав всех тепловатой сыростью.

— А ведь шел, не думал. Должно, к стрелке шел. Он его тут и накрыл.

— Рожок весь так и свернуло, а самого, видно, зацепило за фонарь и поволокло, а то бы пополам перерезало.

На минуту опять водворилось молчание. Ветер снова зашумел по насыпи и посыпал крупой.

— Послали за начальником?

— Сейчас пошли.

— Баба теперича завоет — с восьмерыми осталась.

От станции показались огни и темные силуэты людей. Подошел начальник. Собравшаяся кучка расступилась. Он взял у служащего фонарь, направил на покойника: на мгновение свет мелькнул по сурово-сосредоточенным лицам стоявших, по рельсам, по шпалам и упал на искаженное страданием лицо убитого с неподвижными белками закотившихся глаз. Начальник слегка повернулся и велел убраться тело в пустой вагон.

Принесли рогожу, подняли труп; он стал коченеть, вывернутая рука бессильно упала и повисла.

— Чего же, надо всего... — сдержанно проговорил один из подымавших, как будто не договаривая.

— Вон где, — указал в темноте помощник.

Кто-то отделился с фонарем, прошел несколько шагов вдоль рельсов; видно было, как он нагнулся и поднял что-то. Вернувшись, он бережно положил на рогожу отрезанные ступни.

Тело отнесли и положили в пустой вагон, одиноко стоявший на запасном пути.

В составленном на месте происшествия протоколе значилось: «Ноября такого-то числа на станции такой-то железной дороги, шедшим в депо дежурным паровозом № 5-й был задавлен, по собственной своей неосторожности, дежурный стрелочник, кр. Орловской губ., Демьяновской вол., дер. Улино, Иван Герасимов Пелипасов».

Было часов десять утра. По платформе гуляла публика. Ожидался поезд; уже было получено по телеграфу известие, что он вышел со станции. Пассажиры повывбрались из зал вокзала и расположились с узелками, чемоданами и корзинами на платформе у самого полотна, то и дело посматривая в ту сторону, откуда ожидался поезд. Жандармы, позвякивая шпорами, осторожно и подозрительно поглядывали вокруг. Раздвигая публику, гулко прокатили по асфальту багажную тележку. Торопливо пробежал смазчик с длинным молотком и лейкой, несмотря на холод — в синей замасленной блузе без пояса. Вышел начальник, полный господин, в красной фуражке и золотых очках, слегка приподняв голову и с видом человека, привыкшего отдавать приказания.

В это время какая-то женщина пробиралась между публикой, постоянно оглядываясь; она, видимо, искала кого-то. Лицо и глаза ее были красны, на редкие ресницы, сиротливо торчавшие на подпухших и как будто слегка вывернутых веках, набегали слезы. Она старалась удержать их, непрерывно вытирала и постоянно сморкалась в угол головного платка. Но как только она увидала начальника, слезы неудержимо закапали из глаз. Она подошла к нему и, держа у подергивавшихся губ зажатый в руке конец платка, хотела что-то сказать, но не выдержала и вдруг неожиданно заголосила на всю станцию, так что все невольно оглянулись. Начальник неприятно поморщился и слегка нахмурил брови:

— Что такое? Что ты, матушка?

— Ба... ба... ро-ди-мый, за... за-да... ви-ло... за... да-ви-ло...

Кругом столпились, вытягивая один из-за другого шею и стараясь взглянуть на начальника и на голосившую бабу.

— Чего она кричит? — спрашивали друг у друга.

— Вчерась кого-то убило тут, сказывают.

«Чистая» публика держалась в стороне, посматривая издали на происходившее.

— Да что такое?

— Жена умершего вчера стрелочника, — объяснил начальнику высокий артельщик с бляхой на груди.

— Так чего же тебе, матушка?

— Ро-ди-мый мой... куды жа те-пе-ри-ча? не ду-ма-ли, не га-да-ли... приходят, сказывают — убило тво-во... убило... Вчерась еще с дежурства забежал... при-ду, го-во-рит... при-ду... о-ооо... — Женщина не выдержала: как только стала рассказывать о том, что муж говорил «приду», она истерически зарыдала, ухватившись обеими руками за тощую грудь.

— Иди за мной! — приказал начальник, направившись в вокзал и желая увести женщину от публики.

Она пошла за ним, наклонив голову набок и все так же судорожно рыдая.

— Так ты, что же, хочешь, чтобы тебе помогли?

— Батюшка, куды жа с сиротками теперича — исть нечего... Нельзя ли вашей милости от железной дороги чего-нибудь, помощи какой?

Начальник полез в карман, достал бумажник и подал женщине три рубля.

— Это вот от меня, понимаешь, это я даю, как частный человек, все равно как если бы кто другой дал; а управление дороги ничего не выдаст: оно не отвечает за такие случаи, — твой муж был убит по собственной неосторожности. Неосторожен был, понимаешь? Железная дорога не отвечает в таких случаях.

— Куды жа нам деться?.. пенсию, сказывают, можно охлопотать, а то с голоду помереть с ребятами... Христом богом прошу, не оставьте вашей милостью... — и женщина, нагнувшись, достала рукой до земли.

— Да говорят тебе: не отвечает в таких случаях железная дорога. Послушай-ка, — обратился начальник к проходившему кондуктору, — растолкуй ей, что управление ничего не выдаст. Может, конечно, повести дело судебным порядком, но толка никакого не будет, только деньги и время даром уььет.

Начальник вышел. Женщина стояла на одном месте, вздрагивая от душивших ее рыданий и непрерывно вытирая глаза и красное мокрое лицо концом платка.

— Ну, вот что, Алексеевна, иди теперь с богом. Начальник сказал: «нельзя» — значит нельзя. Сколько можно было, помог, добрый человек, а дорога не отвечает. Это если бы по ее вине, можно бы высудить, а так ничего не будет. Ну, иди, иди, Алексеевна, а то поезд сейчас придет.

Она тихонько пошла. Публика, стоявшая на платформе, видела, как она прошла по полотну, и один из жандармов крикнул: «Проходи, проходи — проезд сейчас», потом спустилась с насыпи. Некоторое время красный платок ее мелькал из-за оголенных деревьев станционного садика и, наконец, пропал за последними деревьями.

1891

МАЛЕНЬКИЙ ШАХТЕР

I

— Ну, иди, иди, идоленок, голову оторву... змеиное отродье!.. — разнеслось в морозном вечернем воздухе.

Грязный, всклокоченный, с головы до ног пропитанный угольной пылью шахтер с озлобленной торопливостью и угрозой во всей фигуре, пожимаясь от холода, шагал в башмаках на босу ногу по снегу, черневшему от угля, за подростком лет двенадцати, торопливо уходившим впереди него.

Мальчик тоже был черен, как эфиоп, оборван и тоже мелькал босыми ногами в продранных башмаках. Он ежеминутно оглядывался, взволнованно махая руками и своей физиономией и всеми движениями выражая самый отчаянный протест.

— Не пойду, тятка, не буду работать, пусти... Что ж это, всем праздник, один я... пусти, не буду работать... — упрямо и слезливо твердил он, в то же время торопясь и припрыгивая то боком, то задом, чтобы сохранить безопасное расстояние между собой и своим спутником.

— Ах ты, идол! Вот, прости господи, навязался на мою душу грешную!

И оба они продолжали торопливо идти по черневшей дороге, огибая насыпанные груды угля, запорошенного снегом.

Морозный воздух был неподвижен, прозрачен и чист. Последний холодный отблеск зимней зари потухал на далеких облаках, и уже зажигались первые звезды, ярко мерцая в синевшем небе. Мороз кусал за щеки, за нос, за уши, за голые ноги. Снег хрустел под ногами, а кругом стояла та особенная тишина, которая почему-то обыкновенно совпа-

дает с кануном рождественских праздников. Темные окна в домах засветились, маня теплом и уютностью семейного очага.

Впереди из-за громадной, сложенной в штабели груды угля показалось угрюмое кирпичное здание с высокой, неподвижно черневшей на ясном небе трубой. Из дверей выходили шахтеры и кучками расходились по разным направлениям, спеша в бани.

Мальчик первый вбежал по ступеням на крыльцо и, обернувшись и выражая всей своей фигурой отчаянную решимость, сделал последнюю попытку сопротивления:

— Не пойду, не пойду... Что это, отдыха нет... всем праздник...

Но как только отец стал подыматься на крыльцо, мальчишка юркнул в двери. Шахтер последовал за ним.

Они очутились в громадном темном помещении, где смутно виднелись гигантские машины, валы, приводные ремни и цепи. Это было помещение, откуда спускались в шахту. Тут же находилась и контора. Возле нее толпилась последняя кучка рабочих, спешивших поскорей получить расчет и отправиться в баню, а некоторые — прямо в кабак.

Праздники, полная свобода, возможность пользоваться воздухом, солнечным светом, вся надземная обстановка, от которой так отвыкают за рабочее время, и предстоящий трехдневный разгул и пьянство клали особенный отпечаток оживленного ожидания на их серые лица.

Шахтер подошел к конторке.

— Иван Иванович, пиши маво парнишку к водокачке. Неча ему зря баловать.

Человек в широком нанковом пиджаке, с лицом старшего приказчика или надсмотрщика, поднял голову, холодно и безучастно поглядел на говорившего и, наклонившись, опять стал писать что-то.

Мальчик стоял, отвернувшись от конторки и упорно глядя в окно.

Три дня рождественских праздников он проведет в шахте. Дело было кончено, и поправить было нельзя.

Тоска и отчаяние щемили сердце. Губы дрожали, он щурился, хмурил брови, стараясь побороть себя и глотая неудержимо подступавшие детские слезы. Отец тоже стоял, поджидая, когда отпустит конторщик.

Черный, с шапкой спутанных волос и угрюмым видом шахтер, дожидавшийся расчета у конторки, безучастно оглядел говорившего, мельком глянул из-под насупленных бровей на мальчика, достал кисет, медленно скрутил цыгарку, послунил ее и стал набивать, не спеша и аккуратно подбирая трубочкой с широкой черной мозолистой ладони корешки.

— Что мальчишку-то неволишь? — равнодушно проговорил он, отряхая остатки засевавшего между пальцами табаку.

— Не я неволю, нужда неволит; все недостача да недохватки. Тоже трудно стало, тоись до того трудно — следов не соследишь, — и он махнул рукой и стал рассказывать, как и с чего у него пошло все врозь и стало трудно.

Шахтер молча, с таким же сосредоточенным, нахмуренным лицом и не слушая, что ему говорил собеседник, закурил. Бумага на мгновение ярко вспыхнула, осветив стоявших возле рабочих, и из темноты на секунду выступили неподвижные, точно отлитые из серого чугуна черты и огромные белые, как у негра, белки глаз.

— На малую водокачку в галлерею номер двенадцать которые? — проговорил, повышая голос, конторщик.

Рабочие молчали, оглядываясь друг на друга.

— Ну, кто же? Тут Финогенов записан.

— Здесь, — проговорил чей-то хриплый голос, и оборванец, с которым жутко было бы повстречаться ночью, показался в полумраке наступивших сумерек. Опухшее, оплывшее, васпанное сердитое лицо, сиплый голос свидетельствовали о беспросыпном пьянстве.

— Чего же молчишь? Бери мальчишку да спущайся, ждут ведь смену.

Оборванец покосился на мальчика:

— Чего суете-то мне помет этот! Чего мне с ним делать?..

— Ну-ну, иди, не разговаривай.

— Иди!.. Сам поди, коли хочешь. Вам подешевле бы все... — и он грубо, скверными словами выругался и пошел к срубу, ухотившему сквозь пол в глубину земли.

Мальчик молчаливо и безнадежно последовал за ним. Они подошли к четырехугольному прорезу в срубе и влезли в висевшую там на цепях клетку. Машинист в другом отделении пустил машину; цепи по углам, гремя и визжа

звеньями, замелькали вниз, и клетка скрылась во мраке, оставив за собой зияющее четырехугольное отверстие.

Когда клетка исчезла и на том месте, где за минуту был мальчик, остался темный провал, рабочий в башмаках почесал себе поясницу и повернулся к угрюмому шахтеру:

— Кабы не хозяйка заболела... жалко мальчишку — тоже хочется погулять.

Тот ничего не отвечал, стараясь докурить до конца корешки, и потом повернулся к конторке получать расчет.

II

Клетка нечувствительно, но быстро шла вниз, и лишь цепи переливчато и говорливо бежали с вала.

Мальчик неподвижно сидел, упорно глядя перед собой в темноту. Им овладело то молчаливо-сосредоточенное, угрюмое состояние, которое охватывает рабочего, как только его со всех сторон обступит мрак и неподвижная могильная тишина шахты. Он слышал затрудненное, сиплое дыхание своего товарища, слышал, как тот кашлял, ворочался, харкал, плевал возле него, приговаривая в промежутках ругательства, и чувствовал, что он не в духе, зол с похмелья и от предстоящей перспективы провести праздники за работой в шахте.

А тот действительно был зол на себя, на сидевшего с ним рядом мальчика, на его отца, на конторщика, на правление, на весь свет. Да и в самом деле, трудно ведь после непрерывной двухнедельной гульбы, попоек, приятной, беззаботной обстановки трактира, гостиниц, кабака — отправляться в холодную, сырую шахту, в то время как другие как раз собираются все позабыть в бесшабашной, захватывающей гульбе и попойке.

Не итти же в шахту не было никакой физической возможности: все, начиная с заработанных тяжким трудом денег, кончая сапогами, платьем, шапкой, бельем, — все было пропито, все было заложено, перезаложено, везде, где только можно было взять в долг, было взято под громадные проценты, и теперь нечего было ни есть, ни пить, не в чем было показаться на улицу, и ничего не оставалось больше, как скрыться от глаз людских в глубине шахты,

утешаясь лишь мыслью, что за эти дни идет плата в двойном размере.

Такие, как Егорка Финогенов, дотла пропившиеся рабочие — клад горнопромышленнику, потому что в шахте необходимо всегда иметь известный контингент рабочих, иначе ее может залить; шахтера же ни за какие деньги не удержать в такой праздник, как рождество, под землей.

Клетка дрогнула, остановилась. Рабочий и его подручный выбрались из нее на площадку. Красные огни ламп, колеблясь, дымили среди густого, нависшего над самой головой мрака. К подъему торопливо подходили запоздавшие рабочие. Гулко катились последние вагончики, и из мрака одна за одной выставлялись лошадиные морды. Конюх торопливо отпрягал и отводил лошадей в темную, могильную конюшню: им тоже предстоял трехдневный рождественский отдых.

Финогенов зажег лампу, сделал папиросу, закурил и стал глубоко и с расстановкой затягиваться, чтоб еще хоть немного оттянуть время: и у него сосала под сердцем тоска одиночества, отрезанности и тяжелого сознания, что приходится провести праздники не «по-людски».

— Что, Егорка, али облетел? — проговорил, подходя с дымившей над самой землей на длинной проволоке лампой, приземистый рабочий, оскаливая белые зубы.

— Дочиста, как есть, — небрежно, прибавляя за каждым словом брань, проговорил Егор, делая особенно беззаботный жест — что, дескать, мы погуляли всласть, а остальное трын-трава, и в то же время чувствуя у себя за спиною эти молчаливые проходы, что неподвижно ждали его в темноте.

— Эй, кто там, садись, что ль! — крикнул штейгер, стоя возле отверстия уходящего вверх колодца.

Разговаривавший с Егоркой рабочий подбежал, торопливо уселся в клетку вместе с штейгером и другими подымавшимися наверх рабочими. Тронулись цепи по углам, клетка быстро пошла вверх и через секунду скрылась во мраке.

Егор и мальчик остались одни.

— Ну, иди, что ли, что рот-то разинул, — злобно крикнул Финогенов на мальчика, точно тот был виноват во всем.

И они пошли среди молчания и мрака, согнувшись и наклонив голову, чтоб не убиться о балки, поддерживавшие лежавшие сверху пласты.

Ноги скользили по мокрой, выбитой колее, и острые камни, выступая из мрака, проходили у самого лица. Торопливо бежавший с фитиля лампы красными языками огонь изо всех сил старался разгореться и осветить ярко и разом эти глухие, таинственные места и лица молчаливо шедших куда-то людей; но со всех сторон угрюмо и беспрерывно надвигалась такая густая, непроницаемая мгла, что обессиленный огонь, колеблясь, маленьким дрожащим кружком с усилием озарял путь лишь у самых ног и бежал в эту неподвижную тьму клубами удушливого, едкого дыма.

На поворотах Финогенов на минуту приостанавливался, припоминая дорожку, и опять, согнувшись и слабо посвечивая из-за себя лампой, шел все дальше и дальше, не обмениваясь ни одним словом с торопливо поспевавшим за ним мальчиком, да им не о чем было и говорить. Они прошли уже около двух верст, и стало сказываться утомление. Галерея понижалась, становилась уже, теснее, свод нависал над головой все ниже и ниже, и обоим приходилось еще больше гнуться.

Шедший сзади Сенька раза два больно ударился о выдававшиеся углом из свода камни и все чаще стал спотыкаться, тяжело дыша и хватаясь за холодные мокрые стены. Уж он теперь не думал ни о празднике, ни о семечках, ни о шумном говоре и веселье гостиниц и трактира с покрывавшим их медным звоном тарелок, бубенчиков, ударами барабана и ревом огромных труб «машины». Яркие картины праздничного веселья были подавлены усталостью и напряжением.

«Хоть бы дойти скорей», — и он напряженно вслушивался, не слышать ли впереди дожидавшихся их рабочих. Но из-за гробовой тишины лишь слышались глухие усталые шаги по неровному скользкому камню да всплески холодной воды, когда нога попадала в лужу.

И они продолжали идти среди холода, сырости и молчания подземной галереи.

— Никак, качают? — вдруг проговорил Финогенов.

Оба остановились и чутко стали вслушиваться. Из мрака доходили странные, однообразные, унылые звуки



человеческого голоса, монотонно и печально повторявшего одно и то же, а в промежутках что-то, всхлипывая и захлебываясь, с усилиями судорожно тянуло в себя воду, и вода хлюпала и всасывалась куда-то и потом сочилась тоненькой струйкой.

— ...Тридцать два... тридцать три... тридцать четыре... — доносилось оттуда медленно, тоскливо, с паузами.

— Здесь, — проговорил Сенька, и оба пошли вперед.

Вероятно, там, во мраке, увидели красноватый огонь их лампочки, потому что перестали считать, и прекратились эти захлебывающиеся, всхлипывающие звуки. Но Егору и Сеньке ничего не было видно — ни огня, ни людей. И только когда они совсем подошли и Егор поднял свою лампу, они увидели двух смутно выступавших из мрака шахтеров, поблескивавшую внизу воду и рукоять небольшой помпы.

И Сенька и Егор ощутили некоторое облегчение, почувствовав присутствие людей и то, что, наконец, добрались до места и не надо больше гнаться и спотыкаться среди темноты.

Шахтеры молча, не говоря ни слова, стали собираться: достали и зажгли свою лампу, вытрусил из башмаков набившийся туда мелкий уголь и насунули на головы по кожаной круглой шапке для защиты от камней.

— Что долго? — проговорил угрюмо один из них.

— Да далече. Тоже пока собрались да дошли, а там конторщик позадержал, — равнодушно ответил Егор, беспечно присаживаясь на корточки и начиная крутить цыгарку. Но, посидев немного и как будто сообразив что-то, он вдруг заговорил быстро и сердито: — Долго! а кабы совсем не пришли? Люди теперича праздник встречают, все чесь-чесью, а мы вон сюда перлись, несла нас нечистая сила! Вы-то вон завтра натрескаетесь, а ты сиди тут да гни спину... Черти, право...

— Да ты чего лаешься? Никто тебя не тянул, сам пришел... Дурак, чисто дурак!

— А то долго ему! А кабы совсем не пришли? Вам бы только нажраться, а ты хоть сдыхай... — и Егор торопливо и в самых отборных выражениях старался излить все свое огорчение и досаду.

— Да будет вам, — проговорил другой шахтер, взял

лампочку, и они, согнувшись, отправились в ту сторону, откуда только что пришли Егор и Сенька.

С минуту красноватый огонь их лампочки мелькал в темноте, становясь все меньше, пока не пропал светлой точкой в глубине мрака. Звук шагов стих, Егор и Сенька снова остались одни, и им стало опять одиноко, холодно и скучно.

Егор торопливо докурил цыгарку, подряд затянувшись несколько раз.

— Ну, вот что, Сенька, — заговорил он, швырнул в воду зашипевший там окурок, — становись ты спервоначалу и качай, да считай, сколько разов качнешь; как досчитаешь сто разов, шумни мне, а я маленько сосну. Да не брешу, смотри, я прислуховаться буду, а не то голову оторву, ежели присчитывать станешь лишнее.

— Дяденька, а ты долго не спи, а то я замучаюсь, — проговорил Сенька, которому жутко было оставаться одному.

— Ладно, я трошки засну, устал, а тогда я буду качать, а ты отдохнешь.

И Егорка потушил лампу. Рабочие от себя держали освещение, и поэтому работали впотьмах, чтобы сэкономить осветительный материал. Слышно было, как он ощупью пробрался до находившегося тут же, возле, места выработки, поворочался и повозился на куче ссыпанного мелкого угля.

— А впрочем, не буди меня, я лишь трошки вздремну, а как откачаешь свое, я сам проснусь. Гляди же, не кидай водокачки, а то взлупку дам, — донеслось до Сеньки из темноты, и потом все стихло.

Сенька нагнулся, пошарил, нашел ручку помпы и, сделав усилие, качнул. Поршень скользнул по трубе, всхлипнул и, всасывая, потянул за собой воду, и через секунду стало слышно — тоненькая струйка неровно и прерываясь побежала в жолоб.

— Ра-аз, — проговорил Сенька, чувствуя, как пробирается к нему сквозь дыры башмаков холодная вода, и его голос одиноко и странно прозвучал в стоявшей вокруг темноте.

И Сенька стал качать, ничего не различая перед собой, и поршень раз за разом стал ходить вверх и вниз вслед за ручкой помпы, всхлипывая и забирая воду.

Работа казалась нетрудной и шла легко и свободно. Сенькой овладело состояние, подобное тому, какое испытывает привычный к дальним дорогам конь, когда он вяжет в хомут и тронется, помахивая слегка головой, зная, что долго придется идти этой мерной, неспешной поступью.

Он позабыл все, что волновало его сегодня и что осталось *там*, позади, и мерно качал и считал вслух, как будто в этом счете и заключалась вся суть и необходимость его пребывания здесь — в сырой, холодной, непроницаемой мгле.

Впрочем, он это делал еще и затем, чтобы подавить жуткое ощущение одиночества и нараставшего неопределенного страха. Таинственное молчание, тьма все время неподвижно стояли вокруг, зловеще дожидаясь, чтобы незаметно обнаружить перед ним ужасное и пока скрываемое.

Сенька не представлял себе ясно, что *это* было, но постоянно чувствовал *его* присутствие. Сейчас вот от него за этой мглой начинались проходы. Они тянулись неведомо куда, и бог знает, что творилось там. Сенька был один, один мог сознавать окружающее, и оттого то, что происходило *там*, принимало особенный, таинственный характер, имевший именно к нему какое-то отношение.

Иной раз он сбивался со счета и, спохватившись торопливо и наобум останавливался на какой-нибудь цифре и опять начинал ровно и монотонно считать, и опять на него надвигались молчание и тьма, и в проходах снова началась возня. Неуловимое, изменчивое и слепое то волновалось во мраке, меняло очертания, заполняя собою все пространство, то свертывалось, оставляя попрежнему безжизненную пустоту и мертвое молчание.

И особенно ужасно было то, что *там* отлично понималось, что он громко считает и сосредоточенно качает помпу лишь для того, чтобы скрыть все больше охватывающий страх. Чудилась насмешливо белевшая впотьмах улыбка, беззвучный, не нарушавший мертвое молчание смех. А он продолжал качать, ему становилось тесно, трудно дышать, и вот каплями падал со лба, руки, ноги занемели и отламывались, он уже давно просчитал за сто.

Вода все прибывала. Помпа с необыкновенным трудом, захлебываясь, вздрагивая от судорожных усилий, тя-

нула тяжелую, как жидкий свинец, воду, и в промежутке слышалось прерывистое дыхание.

Кругом было все то же; мрак редел, разрывался, принимал неопределенные формы, шевелился. Сенька закрыл глаза и работал с закрытыми глазами, но это — еще страшнее.

«О господи!.. да воскреснет бог...» — и под низко нависнувшим сводом печально пронесся вздох.

Время уходило, башмаки уже стояли в воде, и помпа, медленно и редко, будто при последнем издыхании, подымала-опускала поршень.

«Зальет!..»

Он сделал последнее отчаянное усилие, налег на рукоять. Поршень прошел донизу, чмокнул, засосал, подергался и остановился: Сенька не мог больше качать.

И тогда произошло дикое и безобразное.

— Дяденька!.. немоготу работать... — пронесся среди прекратившейся работы и наступившей гробовой тишины странный, совершенно незнакомый Сеньке голос.

— Аха-ха-хх... гоооггоо... моготу-у-у... — донеслось до него отовсюду глухо и насмешливо.

Мрак заklubился, и все заволновалось в необузданно дикой радости. Сенька сидел посреди этого содома на корточках в воде и плакал беспомощными детскими слезами. Он боялся итти искать Егора, да, может быть, его здесь уже совсем и не было.

— Дя-адя Егooooор...

— О-oooo... ух-ух... ух... — отдавалось глухо и подавленно.

Он до того был одинок и беспомощен, что хуже того, что теперь делалось кругом, не могло быть, и он не пытался выйти из своего положения, отдался на произвол судьбы: «все равно». Вода подымалась все выше и выше, и мокрые штаны липли к телу.

Он не знал, сколько прошло времени, пока голос с того света не проговорил:

— Ну, чего воешь, сволочь? Воды-то сколько нашло!

Крепкая затрещина по уху Сеньке мгновенно разогнала весь этот дикий, творившийся вокруг него кавардак.

Сенька так обрадовался, как будто очутился на поверхности и ему объявили, что он может праздновать. Кто-то возле него поплевал в руки, и помпа заработала часто и

сильно, правда, всхлипывая, но теперь не так, как у Сеньки: ей не давали разжалобиться.

— Чего же стоишь? Ступай.

— Дай спичку.

— Но-о, дам спичку портить!..

— Темно.

— Найдешь. По-над стенкой, а там направо.

Сенька побрел в темноте по проходу: ни безглазого, ни слепого ничего уж не было, за исключением холода и сырости. Это отдавалось глухо и обыкновенно.

Он добрался до «лавки» — место выработки угля, где можно было передвигаться только на корточках или на коленях, и стал ощупью шарить руками по воде, по липкой угольной грязи, пока не нашел насыпанную кучу мелкого угля.

Сенька забрался и улегся. Уголь понемногу раздался, принимая формы вдавившегося в него тела. Сенька достал из-за пазухи кусок слипшегося от сырости черного хлеба и стал есть. Кусочки соли и угольная пыль хрустели на зубах, и слипшийся мякиш разжевывался, как тесто. Руки, ноги, спина ныли тупо и упорно, не обращая внимания на то, что он теперь отдыхал.

Сенька доел хлеб, перекрестился. «Кабы теперь в баню», — подумал он, свернулся клубочком, руки заложил между коленями, колени придвинул к самому подбородку, подвигал плечами, чтобы глубже уйти в уголь, и стал дожидаться, чтобы пришел сон.

III

Сон пришел, и стало ему сниться все то, чего ему так страстно хотелось. Стало ему сниться, будто он на поверхности; кругом идет шум и гомон праздничного веселья. Он идет по улице; снег ослепительно сверкает на солнце; мимо скачут, обгоняя друг друга и звеня бубенцами, катающиеся. Потом он очутился в бане и никак не может снять с себя башмаков: они примерзли у него к ногам. Пока он возился с ними, оказалось, что это не баня, а трактир; хоть и странно немного было, что в трактире валялись шайки, по полу стояли лужи воды, а с потолка и со стен капало, это, однако, не нарушало общего веселья

и оживления. Говор, шум, звон, веселые красные потные лица сквозь синие слои табачного дыма странно мешались в одно смутное, не вязавшееся с холодом, сыростью, всюду сочившейся водой. Сенька старался разобраться в этом содоме, и стала кружиться голова.

Его подхватили и стали запихивать в ту трубу, откуда помпой качали воду. Он с ужасом видел эту черную дыру, брыкался, кусал, раскорячивал ноги, с остервенением закричал: «Душегубы проклятые!..» Отец ткнул его кулаком в бок. Сенька, как сноп, повалился на холодный пол и услышал: слабо, тоскливо, прерывисто кто-то, стараясь себя подавить, всхлипывал судорожно и безнадежно.

И раздался голос:

— Ну, ты, дьяволенок, вставай!

И опять его больно ткнули в бок.

Непроглядный мрак стоял угрюмо и безучастно; холодом, сыростью безнадежно веяло отовсюду. Впотьмах ругался Егорка и все тыкал его куском угля.

— Не бей, дяденька, я встану, — протянул Сенька, с усилием подымаясь.

Его била лихорадка, зубы громко стучали, мокрые ноги заоченели, ниже колена больно тянула жилу судорога.

— Ишь ты, лодырь какой, за тебя работать, а ты спать будешь. Морду сворочу!.. Цельный час с ним тут бейся! — шумел Егор.

Сенька наобум, сам не зная куда, сделал несколько шагов и вдруг остановился, прислонившись к холодной, мокрой стене.

— Дяденька, у меня мочи нету.

Град ругательств посыпался из темноты, где был Егор.

Сенька, пересиливая себя и глотая слезы, ощупью добрался до помпы, нагнулся, взялся за ручку и стал качать.

Кругом водворилась тишина, и попрежнему все было неподвижно, угрюмо, безнадежно.

Опять под низко нависшим во мгле сводом слышались хлюпающие звуки помпы и бежала тоненькой струйкой вода, и чей-то голос монотонно, тоскливо, однообразно, как падающие в одно и то же место капли, повторял в темноте: «тридцать два-а... тридцать три-и... тридцать четыре...»

СЕМИШКУРА

Было то же, что десять, двадцать, тридцать, сорок лет назад, — так же угрюмо чернели и дымили надшахтные здания, и непрерывно неслись оттуда гул опускаемых и подымаемых клеток, выкатывались полные угля вагонетки, и, сколько видно было, все пространство кругом завалено нескончаемыми угольными штабелями.

Все густо чернеет несмываемой угольной пылью. Стены, крыши, трубы, телеграфные столбы, земля, рельсы, ее изрезающие, даже в тяжелом полете каркающие вороны. Даже воздух и небо мглисты и тяжелы и солнце медно-красное.

Но больше всего едкая пыль въедается в людей, — негритянское царство, где нет лиц, а лишь сверкающие белки да зубы.

Поодаль, так же занесенные черной пылью, приземистые казармы угрюмо и низко глядят тусклыми окнами.

Кругом ни хворостинки, ни листочка — голо и черно.

Пруд от выкачиваемой из рудников воды мертво, без отражения лежит в черных берегах.

А кругом — бескрайная степь то знойно трепещет, иссохшая под палящим солнцем, то тихо мреет в обманчиво-зеленоватом лунном свете, то, черная, сырым черноземом тонет в дождливой осенней мгле, то буранами белеют над ней зимние вьюги.

И в других местах степи разбросаны такие же черные надшахтные здания, угрюмо дымятся трубы, чернеет занесенная углем земля, мертво лежат рудничные пруды, и долго надо ехать по серой степной пыльной дороге, пока наедешь на слободу или хутор, где блеснет зелень деревьев, где люди ходят с чистыми лицами и солнце сияет живым блеском, не отравленное угольной мглой.

Есть и на шахтах крохотные оазисы, в которых люди пробуют выбиться из проклятого черного царства, — в стороне стоят белые чистые высокие дома инженеров и управляющего. Там и палисадники, и даже садики — хоть и чахло, да зеленеют.

Ревет реву, и над шахтами выбивается бело крутящийся пар — смена. Из-под земли вылезает на свет божий толпа черных людей с потухшими глазами, с пепельными ввалившимися лицами, а другая толпа таких же черных людей, все ниже и ниже теряясь красноватыми лампочками в черном стволе шахты, уносится в сбегающей по цепям клетке.

С одной из таких смен поднялся наверх Иван Семишкура — как все, черный, как все, сверкая белками устало потухших глаз.

Вышел из шахтного здания, прищурился на яркий солнечный свет после кромешной тьмы и чихнул, да так, что воробьи шумной ватагой поднялись с соседнего штабеля.

— Матери твоей весело... будь здоров!

Хотел еще чихнуть, да раздумал; глаза привыкли к солнцу. Невысокий да плечистый был старик с чернозабитой бородой и волосами и с широкою грудью-ямой — пора и продавить каторжной работой.

В казарме, как и все, он похлебал щи и, не раздеваясь, не умываясь, повалился на нары, еще теплые и густо пахнувшие потом после ушедшего на работу товарища.

По шестнадцати часов в две восьмичасовые упряжки работал Семишкура, и поэтому время сна у него всегда передвигалось — то с утра ложился спать, то к вечеру, то ночью, — но засыпал моментально. Спал тяжело, залиvisto-хрипло захлебываясь, точно и во сне его давила земля.

Отсыпал свои семь часов, а часок оставлял на еду, на то, чтобы зашить кое-что из одежды, покалякать с товарищами. Проснется, сядет по-турецки на нары, стащит с сухого, жилистого, с вросшими под кожу угольными точечками тела рубаху и сосредоточенно начинает выискивать насекомых, поглядывая сквозь продранную рубаху на свет.

— Допрежь куда лучше было, — говорит он хриплым, давнишним-давнишним, как эти шахты, голосом, — ни одной, бывало, вши и за деньги не достанешь, ей-бо!

Товарищи — кто зачиняет порты, кто тоже охотится, а кто просто лежит на нарах, закинув руки под голову.

— Али в банях прохлаждались?

— Какие бани? Бани в те поры никто и не знал. Это нонче избаловался народ банями, а прежде мылись через зиму, а то и боле, как в деревню попадали. А чистота была от гасу. Казармов не было, жили в землянках, ну, как затопишь углем, пойдет из печи от угля серный гас, вся вошь подохнет — чистота.

— А народ?

— Угорал, как не угореть, ну, выволокут на снежок — отлежится. Случалось и помирали, а чистота была.

Он встряхнул рубаху.

— Как же! А простор какой был! Дикие козы в степе ходили, сказывают, из-за Каспия добежали, сайгаки, ей-бо! Разве нынешние времена? А шахта! Прибежище и сила. Бывалыча, с каторги убежит человек али попрактикуется грабежом, — куды, куды? на шахту. «Есть пашпорт?» — «Извините, сделайте одолжение...» — «Спускайте». Спустют голубчиков, и-и как у Христа за пазухой: полиции, как и нет ее. Иной год, два... по пять, по десять лет не вылазили, ей-бо! Ну, слова нет, денег им почитай не платили, разве товарищи водки принесут, ну, зато полиция не касается. Что толковать, хорошо было, просто, не то, что теперь — суды да председатели. Энна! к мировому!.. Да я к мировому рупь с четвертью на день теряю. А прежде как? Подозвал десятский: «Ты што?..» — ахх в зубы! весь искровянишься, а рупь с четвертаком в кармане без убытку. А теперича председатели да присутствия... Председатели да присутствия, а почему такое анжинер да управляющий всем служащим «вы», а нам «ты»? Ежели присутствие, пушай и нас величают, а то — вошь заела. На-кось, выкуси!

Старик опять встряхнул рубаху, сложил комом, зажал под волосатые подмышки и слонялся между нарами в одних портах, из которых вылезало старое, жилистое, неизносимое тело с вьевшимся в кожу углем, который уже никогда не отмыть.

— Не желаем, и шабаш! Пушай величают.

— Та цыть! — цыкнул чахоточный, как доска, шахтер, свесив с нар узловатые ноги, и с хриплым клокотанием выплюнул на пол черную, как сажа, мокроту.

— А што ж, правда!.. — протянул парень-гигант, чугунно-черный, точно вырубленный из каменного угля. Он лежал, протянувшись на нарах, закинув под спутанную шапку волос мускулистые руки. — Нехай величают. Два дня назад был у казенки на хуторе — степью шел, в трубку хлеб погнало, — злобно кинул он, приподнявшись на локоть, — вò хлеб!

— Пушай величают! — твердил голый старик, разгудивая между нар. — А што я тебе скажу, — проговорил Семишкура, присаживаясь на нарах, — задумался я... — Он посмотрел в тусклое, как и все, занесенное черной пылью оконце и надел осторожно рубаху, которая все-таки разлезлась на плечах и на локтях. — Задумался я... Слышь, тридцатый год ноне пошел, как я в шахтах... матери твоей весело. Допрежь во за этим бугром кабак был; как вышел на бугорок, а он тут, родимый, у балочке. И на душе легко. Теперь качай за четыре версты к казенке, сидец за сеткой, как ворон, ей-бо! Што за веселость!.. Тридцать годов как прикованный, дале казенки нигде не бывал. Эх, голубь! как она, родимая сторона! пашут, сеют... хлебца житного свово хочь понюхать!.. Никак вымерли все... тридцать годов не через губу переплюнуть... Подкаатило, брат, к самому суставу: в одну душу — пойду, гляну своими глазами, потопчу родимую своими ногами.

— Будет тебе, старый чорт, поди четверть водки купи... — злобно крикнул парень, приподымаясь на локте. — Видал, в степи шел: вò хлеб, а в Расее у нас одна солома.

Старик ссунулся, задумался о своем.

— Тут ее, матушку рожь-то, и не сеют.

И стал угрюм и молчалив той угрюмостью и молчанием, что родят вечная тьма да молчание подземное.

На другой день старик не пошел на смену, а пропал.

— Залил старик зеньки, — говорили шахтеры, надевая кожаные шлемы и заправляя лампочки перед спуском, — теперя на неделю закрутил.

Но Семишкура явился на другой день. Явился отмытый, сколько можно было, — кожа у него из черной стала стальной, — в новой ситцевой рубахе, а руку оттягивала полуведерная бутуль.

Собрал свою казарму, поклонился в ноги, поставил на нары бутуль, положил бубликов и сушеную тарань.

— Братцы, тридцать годов... во, как перед образом,

без передыху... Как лето, наши кто в Расею к себе в деревню, кто в степе на работу, ну я без передыху, чисто запрегся, волоку — и шабаш... На шестой десяток перегнуло, много ли таких работают... Ближко уж старые кости сложу, гляди и не подымешься со сменой. Вот, братцы, иду мать родную сторону проведать. Кушайте на здоровье, поминайте Семишкуру...

— На доброе здоровье!..

— Легкой дорожки...

— Штоб родимая сторонка обняла, приютила... — загудели шахтеры, такие же мрачные, с неподвижными лицами, не то высеченные из черного камня, не то отлитые из тяжелого чугуна.

Пили, закусывали.

А парень — косая сажень в плечах — поднялся во весь громадный рост, с неподвижным, не улыбающимся черным лицом, налил из бутылки полный стаканчик, выпил, молча налил второй, выпил и, не отирая губ, повернулся, тяжело стукнул Семишкуру по плечу, и старик покачнулся.

— Брось... слышь, брось... не тебе, старому псу... тут издохнешь... Водку стрескаем, а ты ступай в смену... энта теперича не про тебя... там, брат, свое... лезь в штольню... — и стал прожевывать бублик.

— Нехай!.. нехай идет!

— Пущай... ничего...

— Занудился тут... тридцать годов — на восьмуху табаку...

— Братцы... ребятушки... ей-бо!.. рад душой. Господи!.. — со слезами, уже нетвердо держась на ногах, говорил Семишкара. — Лишь глянуть на нее, на мать на родимую, на землицу забытую...

На другой день в конторе, когда брал расчет, штейгер говорил ему:

— И куда ты, старая собака, прешься?.. Ты, чай, в хозяйстве бугая от мерина не отличишь... А чем землю пашут, помнишь? Чай, думаешь, киркой рубят да в вагонетках возят... Эх, сивый мерин!..

— Дозволь, Иван Аркадич... давай косу... слышь, давай косу, зараз — эххх, раззудись, плечо! Махну, зазвонит... Ты не гляди — старый, во! работну!.. Работай в штольне, а помирать иди в деревню.

И долго смотрели с рудника, как шел в степи, все делаясь меньше и меньше, Семишкура с котомкой на плечах, долго смотрели с тайной завистью. Потом молчаливо скрутили цыгарки, молча выкурили, сплевывая черную струю, и пошли к ожидавшей клетке опять в вечную тьму.

Жизнь на руднике попережнему катилась изо дня в день — ревел, вызывая смену, ревун, переливчато говорили бежавшие цепи, спуская и подымая людей. Попережнему в штольнях бились, врубаясь в черный уголь, полуголые, черные, обливающиеся потом люди при неверном красноватом свете лампочек. Попережнему на руднике все было занесено черной пылью, и сквозь мглу тускло светило медно-красное раскаленное солнце.

Зажелтели степи, сняли хлеб. В разных местах, курясь дымком, погромели паровые молотилки, потом их увезли, и степь опустела.

Небо стояло чистое, ясное, высокое и уже заходившее, осеннее; потянулась, играя на солнце, паутина.

И вот однажды, когда ударил первый утренник, те, кто был у надшахтного здания, приложив козырьком ладони, стали смотреть в степь. В степи, чернея, шел человек к руднику. Видна нетвердая, усталая походка, согнутые подавшиеся плечи, котомка. Вот уж у рудника, и все ахнули: «Идет Семишкура!»

Подошел, отер пот, скинул котомку, поклонился.

— Здорово были, братцы!

— Доброго здоровья!

На него смотрели, как на выходца с того света.

— Што, Семишкура, аль не пригодился в деревне?..

Он сел на землю, поставив остро колени, и стал ковырять землю. Шахтеры стояли кругом.

— Ну?

— Эх, братцы, каторжная наша жисть. В каждом часе своем неволен, штольни-то костями нашими заделаны. Рази можно от ней, от могилки своей, уходить? Жисть в ней положил, ну и кости свои складывай. А я, пес старый, в деревню... А в деревне, братцы!.. мать-сыра земля... геенна огненна... У нас, братцы, каторга, а там неподобие. Торгуют ею, матушкой, рвут из зуб сын у отца, отец у сына, пропивают да проедают. Миру — поминай, как звали, нет его. Прежде, бывалыча, тонем, все тонем, всем миром тонем, а нонче каждый норовит отрубить да

на соседе выплыть. Чижало у нас, каторжно, ну, все равно под богом ходим, под смертным нашим часом, все одинаковые, нету подешевше, побогаче. А там... — он махнул рукой.

Угрюмо слушали и молчали и так же угрюмо разошлись.

В конторе спросили:

— Ты чего, Семишкура, опять объявился?

— Пиши меня в десятый забой; будет... напился деревней по горло, сыт...

— Да куда тебя писать, старую собаку. Теперь к осени народ валит, да все молодой, расторопный, вдвое против тебя сделает.

— Тридцать годов...

— Не век же вековать.

— Куда же я?

— Куда знаешь.

Долго видно было, как, делаясь все меньше и меньше, уходил по степи человек, судя по осунувшимся плечам, по согбенной спине, должно быть старый, с котомкой.

[До 1897 г.]

ИНВАЛИД

На площадке гул отчетливо и ясно несся снизу. Иван Николаевич глянул через перила блестящими, странными глазами:

— Долго бы пришлось лететь.

В зияющем пролете глубоко внизу неясно серел холодный асфальтовый пол.

Спустились.

Когда завизжала грязная дверь, спертый, удушливый, пропитанный человеческим потом, дыханием, сладковато-приторный воздух охватил. Как в тумане, терялись в огромном помещении стойки, люди, колеса, машины, и, заполняя, носились странные, чиликающие, не перестающие звуки, точно угрюмая черная птица быстро и безостановочно делала железным клювом: чилик-чилик-чилик... чилик-чилик-чилик...

В густой атмосфере с усилием горели электрические лампочки, обливая мигающей, неуловимо-мелкой дрожью людей, части машин, иссера-черную тяжелую пыль, траурно-обвисшую паутину, и черные резкие тени мертво тянулись по полу, уродливо ломаясь по стенам.

С улицы сквозь черноту окон просвечивал синеватый отсвет электрических фонарей, доносился заглушенный гул колес, звонки трамвая. Оттуда глухо неслась, казалось, зовущая, живая, бегущая жизнь.

Мерно качаясь, с наклоненными головами, с потными лицами, в одних жилетах или пропотелых, заношенных рубашках, наборщики мелькали гибкими, подвижными пальцами, торопливо выбирая из кассы тяжелые, пачкавшие свинцом буквы. И с торопливо-металлическим чиликаньем

они ложились в железную верстатку, вырастая в черные строчки.

Хо-о-роша на-ша де-рев-ня,
То-о-лько ули-ца пло-ха!..—

вырывается молодой голос, пытаясь бодро и весело наполнить наборную, но завязает и теряется в густой, тяжелой, озаренной сиянием атмосфере, покрываемый непостоянным угрюмым, равнодушным чиликаньем.

— Будет! Александр Семеныч в конторе...

— Семен Ильич, дайте петиту. Ей-богу, отдам, после урока буду разбирать.

— Нет... не могу... у самого нехватит...

— Этот скареда разве вырчит когда?..

— Товарищи, чья рукопись?

Эти мерно качающиеся между стойками фигуры, автоматически бегающие пальцы так не вязались с представлением процесса мысли, сознательности, из которого рождалась газета.

«Газета — это фабрика...»

— Добрый вечер, Иван Николаевич, — говорили наборщики, качаясь, не отрываясь от торопливого набора с потными лицами.

— Доброго здоровья...

И той же улыбкой редких желтых зубов, какой он отгораживался от остальных людей, отгораживался он и от них, и то же жесткое мелькало в маленьких серых глазках.

— Здравствуйте, Семен Артемыч.

— Ивану Николаевичу — мое почтение.

Маленький, живой, с горячими черными мышинными глазками, человек торопливо улыбнулся, торопливо подал черную от свинца руку, как бы давая понять, что он высказал все, что мог в данный момент; распластавшись над широким столом, сплошь занятым черными колоннами шрифта, он верстал номер, быстро и ловко, как хищная птица добычу, хватая крючковатыми пальцами куски набора и торопливо зажимая в железную раму. Завтрашний газетный лист постепенно вырастал — тяжелый, черный, свинцовый.

— Кажется, запаздывает сегодня? — проговорил Иван Николаевич, стоя у стола и наблюдая за версткой.

У него сделалось потребностью каждый вечер после

газетной работы спуститься сюда и потолкаться среди знакомых качающихся фигур.

— Да ведь вот... что с этим народом!.. — и метранпаж даже оторвался на секунду и мотнул головой по направлению наборщиков.

Из люка, темным провалом черневшего в полу, раздался грохот, точно по тряской мостовой тяжело тронулась телега, нагруженная железными полосами, и мерно, ритмически-прерывисто заполнил наборную. И хотя от него слегка дрожали стены, он не мог покрыть упорно чиликающих сухих и коротких звуков, носившихся в густой, насыщенной атмосфере, сквозь которую острым светом с трудом светили электрические лампочки над склоненными покачивающимися головами.

Это был грохот печатающей в подвале машины, добегавший и до верхнего этажа смутным, неясным гулом.

— А ловко обработали вы их... — ласково проговорил Иван Николаевич, повышая голос, чтобы было кругом слышно, улыбаясь все тою же добродушно-злою улыбкой. — Теперь, небось, грызутся...

Метранпаж судорожно дернулся, засуетился, рассыпал кусок набора.

— А-а... будь ты проклята!.. Иван Николаевич, никак нельзя под руку говорить!

И он почтительно-злобно ожег его маленькими жгучими, полными ненависти глазами и стал собирать рассыпанный кусок.

Иван Николаевич стоял, улыбался.

Заветной мечтой метранпажа было открыть свою, хотя бы на первое время маленькую, типографию. Вел он аскетическую жизнь, откладывая каждую копейку, лишениями загоняя жену в гроб, работая по-лошадиному. Никто не знал, когда он спал. Был артист и художник своего дела и до того набил руку, что мог сам составлять номера. Чтоб заставить контору больше собой дорожить, душил рабочих, заводил среди них фискалов и, наконец, тайно убедил контору разбить рабочих на несколько групп, различно оплачивая их, независимо от количества и качества труда. И рабочие раскололись, озлобляясь друг на друга.

— Вви-ду... ду... ду-пло... ди-пло... ди-пло-ма-тических... — слышится напряженный шопот, — шопот, кото-

рый даже в этой густой, трудно колеблемой атмосфере разносится до дальних углов.

Впиваясь, глядят в захватанную, испещренную беглым путаным почерком рукопись усталые глаза; напряженно бороздятся влажными от пота складками лоб, на который свисают взмокшие пряди; все так же качается плоская, угловатая, облипшая потной рубашкой фигура; ни на минуту не прекращая, работает железным клювом черная птица, и пристально смотрит с улицы в окна озаренная синевой ночь.

— Тьфу!.. Сам дьявол не разберет... С семи часов стоишь... не из железа!.. — заикаясь от раздражения, стараясь покрыть короткие чиликающие звуки, выкрикивает небольшого роста, с огромными, как рога, усами и бритым подбородком наборщик. — Ночь на дворе... Докуда же я буду возиться над ней?..

— А кто ж тебе виноват? — слышится сквозь непрерывное чиликанье, сквозь сердито-мерное громохание машины спокойный голос.

— Кто? Ментр чего смотрит? Пусть в конторе скажет, редакции... редакц...

— Ментр ни при чем...

С преждевременно состарившимся лицом, с ввалившимися висками качается возле благообразный рабочий. Двое очков старой, заржавленной оправой въелись в переносицу.

— Ментр ни при чем — что дадут, то и раздает... Контора тоже ни при чем — не ее дело, а редакции что — лишь бы статьи годились... Рукопись ему ясную подай!.. Да, может, он, господин сотрудник-то, в это самое время башку ломает, как ему быть с Китаем или государством каким, или там про финансы, и про Вильгельма, а вам рукопись ясную подай... о вас помнить!..

Он замолчал, и вместо человеческого голоса носилось лишь упорное, неперестающее металлическое чиликанье, да из люка, тяжело дрожа, лилось грохотание.

— Чудак вы! Кто виноват?.. Никто не виноват... никто!.. Это-то и страшно нашему брату — виноватого нету...

Большие усы сердито повернулись, точно желая посадить на рога говорившего:

— Я потом зарабатываю кусок хлеба, а у меня изо рта

рвут... То в час тридцать — сорок строк наберешь, а то — вот такой оригинал — и пятнадцати не выгонишь. Рубля в день и нету, а на рубль-то я два дня семью кормлю... Им — хорошо: помотал пером — пятишница. А наш брат дуйся... Утром темно придешь, ночью темно уйдешь; света божьего — его и не видишь...

«Грр... грр»... — старается заглушить, тяжело накатываясь и откатываясь с шрифта, машина.

«Чилик-члик-члик... чилик-члик-члик»... — торопливо носится, не отставая, в душной, тяжелой атмосфере.

— А уж ежели что, так виноваты мы, наборщики... — упрямо твердят двое очков, выбирая из кассы шрифт и боком приглядываясь к рукописи... — Виноваты, говорю, мы, потому не умеем так, чтобы не жрать, а каждый день обедаем, да чай пьем, да непременно, гляди, чтобы в сапогах, а не в опорках, да чтоб в пальте... Ну, а как такой-то оригинал попадается, тут уж, значит, день не пообедаешь... Привыкать надо, нечего кобениться, не принцы или короли саксонские...

— Корректур!.. — громогласно, с ноткой презрения возглашает испитой мальчишка, кладя на стол длинные, узкие оттиски, бегло испещренные на полях хвостиками, крючками, точками.

А в неподвижной густой атмосфере, пронизанной лучисто-голубоватым сиянием, все носится ни на секунду не перестающее чиликание, видны мерные круговые взмахи рук, мелькающие черные пальцы, наклоненные всклокоченные, мерно качающиеся головы, губы, напряженно шепчущие фразы рукописей, серые, землистые лица с ввалившимися щеками, влажно-отсвечивающими медленно стекающим потом.

В этом огромном, тусклом от духоты помещении все залито напряжением торопливого, усталого труда.

— Семизоров, идите в контору! — прокричал, стараясь покрыть чиликанье, конторский мальчик, чистый и опрятный в противоположность черным от свинца наборщикам.

— Зачем? — спросил Семизоров, не оставляя набора, глядя сквозь двое очков.

— Управляющий велел.

Мальчишка скрѣлся за дверью. Так же металлически чиликали торопливо ложившиеся по железным верстаткам свинцовые буквы, так же тесно стояли стойки и качались люди, и тускло сквозь занесенные свинцовой пылью окна глядело электричество уличных фонарей, но что-то, какой-то странный неуловимый след остался в наборной после ухода мальчишки.

Семизоров закончил верстатку, снял с нее набор, приложил к колонке на стойке, спокойно снял одни очки, другие и, производя странное впечатление их отсутствием, точно у него отняли нос или вынули глаза, пригладил волосы и пошел в контору.

— Меня звали?

Потому, что все здесь были в белых воротниках, в ярко вычищенных штиблетах, с причесанными волосами, чисто выбритыми подбородками, они не ответили ему сразу.

— Звали меня?

— К управляющему, — мотнул головой один из конторщиков.

Семизоров прошел в соседнюю комнату, остановился у двери с особенною смесью почтительности и сознания собственного достоинства.

Управляющий, маленький чисто выбритый человек, в манжетах и воротничке, белизной которых недостижимо отделялся от стоявшего перед ним человека, писал за столом, заваленным счетами, фактурами, конторскими книгами, образцами типографской бумаги, и в комнате с минуту слышен был только шелест пера да тиканье маятника.

— А-а... Семизоров. Ну вот что, — говорил он, подходя к черному человеку, полуфамильярным, полуделовым тоном, — трудно, я слышал, вам работать... мм... вы вот что... вам отдохнуть необходимо... полечитесь, лягте в глазную лечебницу... прекрасный окулист...

«Вот оно...»

Семизорову стало мучительно холодно, как будто внутри все внезапно побелело и стало звонким и хрупким, как лед, и он не шевелился, боясь, чтоб оно не потрескалось и не рассыпалось на кусочки.

— Мы вас ценим... мы вас чрезвычайно ценим... нам нужны опытные, знающие, честные работники; вот поэтому-то я и говорю — отдохните, полечитесь... Если будете

в глазной, скажите, что из акционерной скоропечатни... меня там знают, все сделают для вас...

Семизоров стоял. Хотелось спать — покоя, забвения, неподвижности... Всю жизнь он провел в городе. Давно, давно, мальчишкой как-то попал верст за двадцать в деревню. Было тихо, неподвижно... Между камышами блестела вода. Не трепеща, стояли осоки... У самого берега от истомы, нетронутая косой, никла трава. И такая же трава, так же нетронутая косой и поникшая от истомы, глядела из воды с опрокинутого берега... В неуловимой глазом глубине ослепительно белели облака; и за облаками тонко сиявшее голубое небо.

Мальчик прыгал, и смеялся, и плакал, визжал от радости, катался по траве, потом задумался, прислушался к этой необыкновенной, никогда не испытанной тишине, присмирел, растянулся у воды, слушая тишину... Время потерялось...

И теперь, через тридцать лет, Семизоров стоял, и перед ним между камышами блестела речка, и глядел опрокинутый в воде берег, и белели далеко внизу облака, и сияло сиянием праздника на недостигаемой глубине небо. Он жадно ловил эту испытанную когда-то тишину...

— Правление постановило выдать вам не в зачет двухмесячный оклад... Так вот; отдохните, поправляйтесь...

Все было ясно и просто, и не нужно было слов.

Но как перед этим Семизоров слушал ненужные ему речи, так теперь он стал говорить ничего не могущие поправить слова:

— Что же, Александр Семенович... как же так?.. ведь с мальчиков я у вас... тридцать лет...

— Я говорю вам, — мы вами чрезвычайно дорожим, высоко ценим вашу службу... Повторяю, правление само, по собственному почину, назначило вам двухмесячное жалованье...

— Ведь это... на улицу с сумой?

— Что вы... что вы!.. да разве мы вас увольняем?.. Я только говорю, вам отдохнуть, полечиться надо. А не хотите, оставайтесь... Мы рады, мы очень рады, мы ценим таких работников... Я только советую вам... Как отдохнете, поправитесь, милости просим опять к нам, для вас всегда место будет... Мы только советуем... ну, и двухмесячное жалованье...

Семизоров провел рукой по лицу, как будто сметал паутину ненужной лжи человеческих отношений, как будто хотелось просто, не смягчая, взглянуть беспощадной правде в лицо:

— Помирать надо, Александр Семеныч.

Что-то дрогнуло в лице управляющего. Он забыл свои манжеты, свою квартиру и тысячу рублей, мягкую мебель, чисто выбритое лицо, забыл все, что отделяло его непреодолимым расстоянием от стоявшего перед ним человека, и сказал совсем другим голосом и переходя на «ты»:

— Голубчик... ты знаешь, я ведь сам служу... распорядились... мне ведь и самому...

Так несколько секунд стояли друг против друга *два человека*.

— Так вот, — заговорил прежним тоном, разом чувствуя на себе манжеты, чистое белье, чистое лицо, управляющий, — отдохните, почитесь, поправляйтесь...

Когда Семизоров вернулся в наборную, подошел к своей стойке, спокойно надел одни очки, другие, — никто из наборщиков по странному чувству деликатности не спросил, зачем его звали, хотя никто не знал зачем.

Все так же носилось чиликанье, все так же слышался напряженный шопот разбирающих рукописи, все так же качались усталые фигуры, и резко и черно, ломаясь в углах, лежали тени.

Когда пошабашили и наборщики радостно и торопливо, на ходу засовывая руки в рукава, одевались, Семизоров сказал:

— Братцы, айда в «Золотой Якорь».

— Поставишь, что ль?

— Да уж ладно.

— Ребята, Шестиглаз угощает.

— Могарычи, что ли? али прибавка?

— Ну, да вам водка вкуснее не станет, с прибавки она или с убавки...

Смеясь, балагурия, с чувством огромного облегчения сброшенного трудового дня шли веселой гурьбой по ярко освещенной улице, свернули, прошли несколько переулков и стали подниматься по грязной лестнице гостиницы.

Знакомо пахло селедкой, пригорелым маслом, чадом. Говор, звон посуды, свет от закопченных ламп, смешанный запах водки, пива и еды, густые, непроницаемые сизые

волны табаку, и в них бесчисленные головы над столиками, заставленными бутылками, стаканами.

Весело и шумно расположились за столами, и через десять минут у всех блестели глаза, все говорили, и мало кто слушал.

— Ну, поскорее, полдюжины!

— Что полдюжины, смотреть не на что, — дюжину!

— Слушаюсь-с.

— Я говорю, ребята, у нашего ментра тысячи две в банке лежит.

— Искарriot, — придет и на него время.

— А я те говорю, — у него своя типография будет. К нему же придешь, поклонисься.

— Сдохну, не поклонюсь!..

— Эй, молодец, десяток «Прогресса».

— Люблю тебя, Шестиглаз, ей-богу, хошь ты и слепой чорт...

— Был конь, да изъездился! — говорил размякший Семизоров. — До чево жизнь она чудная... Нет, ей-богу... Помолчи, честной народ... ну, что галдишь?.. Наливай-ка... Собственно, в каком положении жизнь моя?.. Так, тьфу!.. Тридцать лет служил... мальчонком ведь меня в типографию отдали, вот в эту самую, в нашу... годов десяти... тут и кассы учился разбирать, и набору учился, всего видал... Оглянешься, аж жутко делается: тридцать годов, ведь это не тридцать шагов перейти... Ну, выпьем, братцы!..

За множеством столов сидели, курили, тонули в сизых волнах. Молодцы в белых рубахах носились с подносами, уставленными посудой, водкой, пивом, закусками, торопливо-услужливо подавали, принимали. Гул, смутный, слепой и бессмысленный, гул сотни отдельных голосов, огромным клубком скатавшихся над головами людей, тяжело и дрожа переливался, волнуясь и заглушая отдельные слова, отдельные возгласы, крики. Было что-то свое в нем, ни на минуту не перестающем, ни на минуту не ослабляющем тяжелого напряжения, что-то неумолимое, стирающее все различия.

— Э-э, братцы!.. главное в чем... потому, собственно, виноватого нету... Ну, кто виноват? Я, братцы, не виноват — старость пришла, износился, глаза не служат... Что же такого, ничего... ни-че-эго!.. Контора? Контора не виновата — ей приказано... Что же, вон управляющий

сегодня говорит... тоже ведь — человек, не из железа... стал говорить, а у самого голос оселся, — да... приказано... он что, служащий... хозяева, стало быть акционеры, правление виноваты, что ль?

— А то не виноваты?! — низко и зло прозвучало за столом.

— А то виноваты, что ль? Скажем, я износился, работник, да не тот, — слепнуть стал. Могут они держать? Через год ты станешь слепнуть, или чахотка; тебя станут харчить; так это, лет через пять, нас, братцы, девать некуда будет: клячи, съедим всю скоропечатню; общество ухнет, ей-богу... а то нет?

— Очень просто.

— Да чорт их съешь, — заговорил все тот же голос, низкий и злой. — Мне какое до них дело... Я работаю не покладая рук... силы, здоровье, все отдаю, а потом, как тряпку, меня — вон... Хорошо, не виноваты, — так ведь и я не виноват.

Гул снова взмыл, переполнив помещение, и опять тонкий и высокий голос Семизорова стоял одиноко и резко, пытаясь выделиться, но нельзя было различить слов, и опять набежавшая тысячеустая волна поглотила, и мертво и тупо властный колыхался над людьми гул — без слов, без смысла...

Ге-эй га-ало-чки чу-у-барочки
Кру-у-ту го-ору... кры-ы-ыли...

— «Прогрессу» коробку!..

— А все оттого, что мы — бараны... Будет так — придет время — не будут люди одни возить, другие ездить... к тому идет...

— Брехня!.. Не нужно, не ври!.. — резко и злобно кричал Семизоров, и так пронзительно и тонко, что колыхавшийся гул не успел поглотить его крик, и все повернули к нему головы. — Ишь ты, не будут ездить.. врешь!..

— Да ты что?! что!.. в морду захотел!..

— Бей!.. на!.. на, бей!

— Позвольте получить... Пожалуйста сдачи... Покорно благодарим...

— ...не ври... дескать, хорошо тогда будет... дескать, ни слуг, ни господ — все одинаковы, все есть, пить будут

свой хлеб, а не сидеть на чужой шее да не жиреть чужой кровью... врешь!! Не ври... что глаза-то народу отводить... вре-ешь!.. Я-то, я, Семен Поликарпыч Семизоров, по прозвищу Шестиглаз... тридцать лет простоял над кассой... Моя-то жизнь как?.. ни в какую цену?.. ни в копеечку?.. а-а, то-то хорошо будут жить, честно, а от меня что останется?.. Я-то тут при чем окажусь?.. Не обманывай, не ври!..

Он стукнул кулаком по зазвеневшему посудой столу.
— Зараз жить хочу!.. вот сию минуту!

Но клубившийся говор поглотил его спокойно и угрюмо, как всех. И на секунду снова, как среди разыгравшегося, волнующегося моря, мелькнул его голос:

— А то внукам хорошо будет, чтоб ты лопнул!.. Вот оно — мясо, кожа, все сгниет... слышь ты...

— Да будет вам...

О-о-ой, да-а-а-а... Ва-а-нька-а...
Ма-а-а-ль-чи-ше-шеч-ка-а...

— Господин, нельзя... потише... Эдак все запоют...

— Давай ещё полдюжины...

Хриплый, хмурый голос уже выбивался из колыхавшегося, клубившегося гула, с секунду борясь с наплывавшей волной.

— Молчи!.. не вноси разврату... наш брат только тем и живет, что в будущем хорошо, внукам хорошо будет... одной надеждой только и дышим... молчи!..

— А-а, молчать?! Я сдохнуть должен, молчать!..

И он злорадно, с красным лицом, кричал:

— Да и вам не видать... не видать, как своих ушей, хорошей жизни, — подохнете!.. Мне сейчас сдыхать, вам после, все одно... Внукам хорошо будет, чтоб они обтрепались!..

— Сёма, миляга, дай поцелуемся... выпьем... Люблю я тебя, как...

— Не скули...

— Эй, человек!..

— Братцы... братцы... милые мои... товарищи!..

Семизоров плакал пьяными слезами, целовался пьяными, мокрыми усами и крутил взмокшей, растрепанной пьяной головой.

— Ухожу, братцы, товарищи, ухожу от вас... Не будет

у вас Шестиглаз теперь в наборной качаться... износился, пора и честь знать...

А говор колыхался над ними, слепой, равнодушный и темный...

Как в тумане, с усилием горят в густой, спертой атмосфере электрические лампочки; неустанно носятся чиликающие металлические звуки; у стоек наклоненные фигуры с потными лицами; так же тускло смотрит в окна ночь; и зовет, и манит вечно бегущая за ними жизнь. Напряженный, усталый труд заливает огромное помещение, и, сотрясая стены и покрывая все звуки, тяжело льется из люка грохот. Проходят дни и недели, как до этого проходили годы.

За стойкой Шестиглаза качается новый, молодой наборщик, с таким же потным лицом, в такой же пропотелой рубашке, как и все, как будто он годы качается со всеми.

О Шестиглазе не то что забыли, но этот непрерывный, усталый труд, залитый напряжением и ни на минуту не смолкающим свинцовым чиликаньем, точно тinouй заволакивает впечатления, и они бледнеют и тускнеют.

Шестиглаз о себе напомнил.

В наборную входит один из наборщиков, и сквозь темноту свинцовой пыли тускло пробивается бледность его лица. Он поднял руку и кричит. Должно быть, что-то особенное в его крике, потому что мгновенно смолкает чиликанье, головы поворачиваются, смотрят круглые, расширенные глаза, и хотя тяжело попрежнему льется из люка грохот, сквозь него чудится страшная мертвая тишина.

Он кричит:

— Шестиглаз... повесился!

Давимый мертвенной тишиной, смолкает грохот, и в наступившей огромной пустоте лишь слышится шелест человеческого дыхания.

Отовсюду посыпалось:

— Когда?.. Кто вам сказал?.. Не может быть!.. Что же это такое!.. Га-а!.. Вы были там?

Его окружают. Из люка поднимаются рабочие. Огромная человеческая машина на полном ходу расстроилась, остановилась, оборвались привычные звуки хода, и чуждое, незнакомое, постороннее трепещет среди черных, занесенных свинцом стен.

На стойку взбирается молодой наборщик. Губы трепещут, дергаются не то усмешкой, не то судорогой, и голос звенит:

— Товарищи, за кем очередь?..

Все молча, как прикованные, не отрывают от него глаз.

— Он был между нами... толковал, а мы отделались грошовым сбором и на другой день забыли... Товарищи, его повесили... мы! — и не стереть нам нашего преступления.

Голос его покрывает рев сотни людей:

— Сто-ой!.. бросай работу... станови типографию!.. ба-стовать!.. Товарищи, выходи!..

Мелькают шапки, рукава, пальто, сверкающие глаза. Черная толпа выливается, и двери, захлебываясь хриплым визгом, захлопываются за последним.

Тишина. Неподвижная тишина.

В этом странном безмолвии уродливо стоят стойки, валяются верстатки, чернеет рассыпанный шрифт, тускло глядят ничему не удивляющиеся окна. Беззвучен темным провалом разинутый люк, и немые на полувзмахе остановившиеся машины. Белеют ленты бесконечной бумаги.

В неподвижной тишине все мертво, холодно, очоценело.

Так же немо, холодно, мертво тянется потерявшее меру время.

Боязливо-сторожко хрипит дверь. Входят люди, растерянные, бледные, с чистыми лицами, белыми воротничками, чистым, красивым, дорогим платьем.

Они озираются, точно их поразила уродливая неподвижность мертвых вещей, и говорят сдержанными, глухими голосами, как будто в этих темных стенах — покойник.

— Но как это вышло?.. Почему?

— Я сам ничего не понимаю... вдруг... внезапно... не предъявляя никаких требований...

— Это вы виноваты, Александр Семеныч.

— Я, помилуйте, я все меры...

— Господин директор, необходимо сейчас же просить полицию, администрацию...

— Ах, что мне полиция! Разве полиция возместит убытки?.. Ведь это провал, разорение!.. Что скажут акционеры!..

Он хватается за голову, качается, и в волосах, как искры, сверкают на пальцах камни перстней.

СЦЕПЩИК

I

Макар высунул голову из своего вагона, в котором жил с семьей и летом и зимой.

Солнце еще не успело подняться и стояло низко над вагонами и землянками. Сизые тени наполняли воздух, и дымка окутывала просыпающуюся землю. Начиналось весеннее утро, свежее и ясное.

Макар несколько раз глубоко втянул в себя воздух. В вагоне «шибало духом» и пахло «человечиной». Это оттого, что он был товарный, тесный, темный, без окон, а народу в нем было много. Пятеро ребятишек, разметавшись разгоряченными грязными телами, лежали на полу, прикрытые тряпьем, которое было когда-то одеялами. Тут же спали жена Макара, отец и теща.

Макар опять спрятал в вагон голову, на четвереньках перелез через спящих детей, вытащил из-под изголовья свои сапоги и портянки и стал обуваться. Как раз в пору итти на дежурство.

Жена макарова тоже поднялась, с заспанным, измятым, покрытым рубцами и красными полосами от жесткой подушки лицом, вышла и стала возиться около печки, разводя огонь. Макар плеснул себе водицы в лицо, вытерся подолом рубахи, покрестился, торопливо кланяясь, на рдевший восток и, захватив флажок, свисток и краюху хлеба за пазуху, отправился на станцию.

Станция издали краснела кирпичными неоштукатуренными зданиями. Поселок, приютившийся у станции, весь дымился выбеленными трубами. Слева раскинулась степь, могучая, открытая, слегка волнистая. Пройдет две-три недели — и она станет унылым, бурым, выгоревшим, спален-

ным солнцем пространством. Зато теперь, насколько только хватал глаз, это был зеленый простор, яркий и свежий. Местами, ярко выделяясь, краснели полосы тюльпанов. Как по нитке, уходили вдаль рельсы, телеграфные столбы и, уменьшаясь, пропадали вдали. Далеко-далеко, на самом гребне, желтея, поворачивало железнодорожное полотно, и телеграфные столбы казались там тонкими черточками.

Мимо пробежал табун лошадей. Вдали маячили кибитки калмыков. Макар остановился.

— Эка благодать божья!

Он снял картуз и провел жесткой рукой по лысине. В траве, в воздухе, над полотном, в телеграфных проволоках стояли неопределенные звуки, которых никогда не знает городской житель. Впрочем, еще не было ни кузнециков, ни жучков — и в то же время степь звучала. Это была песнь весны, неслышная, неуловимая.

Над одним из станционных зданий вырвался и закрутился белый пар — и грубый, резкий, настойчивый, и упорный гудок зазвучал, нарушая весеннюю мелодию, и далеко-далеко понесся над зеленым простором.

Шесть часов.

Макар поспешно зашагал к станции. Над полотном там и сям курились белым паром паровозы. На последней стрелке, громыхая, уходил утренний поезд. Вот и дежурный маневренный паровоз номер семьсот тринадцатый: угрюмая, черная, тяжелая, неповоротливая машина, вечно хмурая и неопрятная — нефть грязными полосами постоянно стекает по ее бокам, — но зато необыкновенно сильная. Макар подошел вплотную, взялся за ручки и поднялся на площадку. Номер семьсот тринадцатый оглушительно шипел, так что приходилось кричать, чтобы слышали.

— Карле Иванычу мое почтение!

Машинист, хмурый немец, проговорил, не протягивая своей черной, пропитанной нефтью руки:

— Бувайт здоров, Макар!

Немец, казалось, и сам был насквозь пропитан нефтью. Макар поздоровался с помощником, молоденьким безусым восемнадцатилетним парнем. От форсунки несло нестерпимым жаром. Лица у машиниста и помощника были потны.

— Тепло тут у вас.

— Тепло, куда теплее. Форсунка все балует, — проговорил помощник, и как бы в подтверждение его слов, из форсунки вырвался сноп пламени с удушливыми газами.

— Ну, Карла Иваныч, теперя к депе валяйте, заберем вагоны, надо десятичасовой составлять.

Карл Иваныч взялся за регулятор и повернул рычаг. Номер семьсот тринадцатый разом смолк и, производя странное впечатление наступившей тишиной после нестерпимого шипения и надавливая на рельсы всем своим огромным корпусом, тихонько тронулся задним ходом. Из черной трубы с металлическим вздохом, точно взрыв, вырвался клуб белого пара. Мимо пошли вагоны, полотно. Макар торопливо соскочил с подножки, обогнал паровоз и перевел стрелку. Паровоз перешел на другой путь и направился к депо, а Макар на ходу, как обезьяна, уцепился за подножку и, повиснув на одной руке, в другой держа флажок, глядел, как приближались вагоны, стоявшие у депо.

Со скрежетом и звоном ударился паровоз буферами в ближайший вагон. Макар соскочил, посвистел — паровоз убавил ходу; затем он торопливо пролез головой под буферами и, идя между катившимися вагонами, накинул цепи, крюк и стал его свинчивать, чтобы стянуть. Вагоны тихо катились, все наталкиваясь один на другой и звеня буферами. Если Макар споткнется, зацепится ногой, делает неловкое движение — его сейчас же повалит и мгновенно перережет десятками пар колес, которые, тихо и грозно поворачиваясь, вдавливали шпалы в песок. Но Макар меньше всего думал об этом. Он шел между вагонами и думал, что, кроме этих десяти вагонов, надо добавить еще семнадцать балластных, что надо не забыть завести в депо два «больных» вагона, которые стоят на запасном пути, что надо получить семь копеек долгу со стрелочника Ивана, что сапоги у него давно прохудились — неловко ходить, полны песку.

Макар опять торопливо выбрался из-под вагонов и свистнул. Паровоз остановился,дохнул, крюки натянулись, и вагоны, скрипя железом, один за другим пошли в обратную сторону. Макар на ходу уцепился за задний вагон.

Началась обычная ежедневная работа: стрелки, буфера, крюки, цепи, звон металлических частей вагонов, свистки, нестерпимое шипение и тяжелое дыхание парово-

зов, песок, которым усыпано полотно и из которого с трудом вытаскиваешь ноги, и к концу дежурства усталость — усталость нечеловеческая, одуряющая, — вот все, что будет заполнять собою его двадцатичетырехчасовое дежурство. И это тянется уже десять лет, в течение которых он служит на железной дороге.

Для постороннего, свежего человека эта непрерывная, без отдыха, двадцатичетырехчасовая работа кажется чем-то чудовищным, противоестественным. Ведь есть же день и ночь — день для работы, ночь для отдыха, и строго караются те, кто нарушает основное правило об отдыхе и работе. Но Макар спорил: десять лет, как он изо дня в день нарушал эту заповедь, работая по двадцать четыре часа подряд. Правда, следующие двадцать четыре часа ему давали на отдых, но страшное напряжение в течение суток не возмещалось и этим отдыхом. И уже наказание отпечатлелось на нем: еще не старый человек, он весь был в морщинах, согнулся, щеки ввалились и руки дрожали. На рассвете же, к концу его дежурства, в нем трудно было признать человека: колеблющаяся, неверная походка, мутные глаза и бессмысленное лицо идиота — без мысли, без выражения.

Впрочем, Макар об этом не думал, не задавался такими вопросами; он просто в шесть часов становился на дежурство, потом к концу двадцати четырех часов делался идиотом, потом, дотащившись до своего смрадного, тесного, темного, а зимою и холодного вагона, падал, как сноп, и засыпал тяжелым сном; потом просыпался и, если были деньги, напивался пьян, если же их не было, садился чинить себе сапоги, ребятишкам и жене башмаки. Все это он проделывал потому, что у него было пятеро ребятишек, жена, отец и теща, и все они, к его глубокому прискорбию, ели аккуратно каждый день.

Свою семью, ребятишек он любил по-своему. Если бы кого-нибудь из его ребят задавило вагоном или искалечило, он извелся бы от горя, а тому, что они хирели от плохой пищи, нищеты и тяжелой обстановки, он не придавал значения.

Пил Макар потому, что это была его единственная улада. Кругом была степь, на много верст безлюдная, и изредка лишь попадались казачьи хутора. Но он дальше своего железнодорожного полотна нигде не бывал. Возле

раскинулся небольшой поселок. В конце его стояла покривившаяся землянка, где Семеныч тайно торговал водкой и принимал в заклад носильное платье и куда Макар нередко заглядывал.

II

— Номер триста двадцать шестой, триста сорок девятый...

— Есть.

— Пятьсот восемьдесят первый, сто седьмой... — монотонным, привычным голосом читал составитель поездов по бумаге, которую ему выдали в конторе, номера вагонов, которые он должен был включить в поезд.

— Есть, есть, — отвечал Макар, загибая на заскорузлой руке пальцы.

— Двести одиннадцатый... У Емельяна вчера здорово дрызнули...

— Есть... Здорово? Небось, четверть сожрали?

— Девяносто пятый, да на карьер под песок две платформы... Четверть! Четверть и не пахла. Опосля я две бутылки да Миколай две.

— Платформы-то я в хвост поставил... Миколка здоровый пить, складчину с ним нельзя: не оглянешься, а водки уже нет.

— Да пусть на второй путь отцепят, чтоб грузить сейчас... У Миколки-то, ушли мы, водка загорелась. Бабы прибегали, сказывали, конским навозом с водой отпавали, — не знаю, отошел ли, нет ли.

— Сумлеваюсь я только, кабы девяносто пятый дорогой не заболел, ненадежен... А что бабы — так оно как бабье царство есть, так и останется. У человека водка внутри загорелась, а они его навозом. Мыслимое ли дело! Первое средство, ежели у тебя внутри загорелась водка, купи бутылку и как ни мога скорей выпей, тут же тебе и зальет все.

Макар сосредоточенно посмотрел на вагон, потом себе на сапоги и похлопал их флажком.

— А надясь у меня загорелось, денег не было, сбегал к Семенычу, сапоги новые продал, — ну, значит, и утушил. Как выпил еще бутылку, она замлела, а то бы помереть мог.

Макар разочарованно поворачивал свою ногу, на которой, как зубы, выглядывали грязные пальцы сквозь дыры сапога.

— Эти совсем прохудились.

— Часто она у тебя горит что-то. Гляди, кабы тебе совсем не прогореть.

— Не, это, без шуток, первое средство...

— Ну, айда! Слышишь, зовет.

Паровоз действительно давно и настойчиво свистел. Макар торопливо пробежал к дальним вагонам, начиная уже с усилием вытаскивать из песка ноги. Тени от домиков, от вагонов, от телеграфных столбов стали короткими, солнце подымалось все выше и выше и жгло, воздух струился.

Кругом все то же: полотно, усыпанное песком, рельсы, шпалы, стрелки, семафоры и вагоны, вагоны без конца.

И опять бегаёт по песку Макар, пролезает под буферами, цепляет крюки, машет флажком, посвистывает, переводит стрелки. Отщипывает по кусочку хлеб и запикивает на бегу в рот, — хочется поесть, и некогда присесть, а до вечера еще далеко, и впереди долгая-долгая ночь.

III

Служащие на железной дороге распадаются на белую кость и черную. К первым принадлежат машинисты, помощники их, механики, вообще искусные рабочие, ко вторым — стрелочники, сцепщики, сторожа, составители. Первые зарабатывают шестьдесят, восемьдесят и даже до ста рублей в месяц, вторые получают от восьми до двадцати пяти рублей. С первыми начальники станций и всякое другое железнодорожное начальство обращаются не то что по-человечески, но все же терпимо; вторых всячески заушают, не считая за людей. И Макар по отношению ко всем чувствовал себя так, как вообще чувствуют себя «Макары», на которых валятся все шишки. Всякого начальства он боялся, как огня. Но жить постоянно в страхе, всегда сознавать себя меньше и ниже других — для человека невозможно. Он всегда ищет тех, кто стоит еще ниже его, над кем он может проявить свою власть. Макар тоже искал этого, но не находил, и только когда возвращался

домой, чувствовал себя господином: кричал на жену, под пьяную руку и бивал, и награждал ребятишек колотушками.

С машинистами, с которыми приходилось работать, Макар обращался заискивающе; они же, всегда угрюмые, смотрели на него свысока. Вот и теперь он подошел к неистово шипевшему номеру семьсот тринадцатому и проговорил заискивающе:

— Скоро, Карла Иваныч, воду брать пойдете?

Дело-то в том, что когда дежурный паровоз брал воду, сцепщик мог эти несколько минут отдохнуть, и Макар давно ждал этого момента. Но Карл Иванович сердито пробурчал:

— Когда пойдем, тогда и будем брать.

И опять стал бегать Макар от вагона к вагону.

Стало вечереть. Длинные косые тени потянулись по земле. Страшно долго тянется время при такой работе, а когда оглянешься, не заметишь, как и день прошел.

Карл Иванович, наконец, пошел брать воду. Макар влез на площадку вагона, достал краюху хлеба, ржавую «душистую» тарань и стал закусывать, обгладывая все до последней косточки. Теперь он позабыл и работу, и дежурство, и всю окружающую обстановку, и исключительно был занят своей таранью, с которой меланхолически вел разговоры, поглядывая на следы, которые оставляли на ней его зубы.

— Ишь ты ведь какая... просолела вся, а пахнешь. А што ж это, правильно, што ли? Уж ежели соль, то она должна все выисть, тоись, значит, всякую дрянь, и пахнуть тебе, значит, незачем. А то на какой же ляд тебя солить, проварили бы так, и делу конец.

И Макар опять вопросительно поднес к носу таранью голову и потянул носом, но тарань все-таки пахла.

— Нет, без всякого разумения рыба, прямо сказать, ледащая рыба, — и он, безнадежно махнув рукою, с треском разгрыз таранью голову.

Вдали засвистел паровоз.

— Ну, напился жеребец.

Макар подобрал крошки, вытер усы, покрестился несколько раз, надел шапку и побежал к паровозу. Тяжело было бежать, впереди еще двенадцать часов...

Стало смеркаться. Видит Макар: из депо вышел один паровоз; за ним, немного погодя, другой, — остановились. Машет на переднем паровозе что-то Макару машинист, но Макар не обращает внимания — со своим делом еле управляется.

Смотрит, опять машет машинист и кричит:

— Ты что же, оглох, что ли? Докудова дожидать-то будем?

— Чего надуть?

— А того надуть — паровозы сцепи, просить тебя...

— Чего пристали? Старший стрелочник-то на что? Мне, что ль, за этим смотреть? Своего дела не оберешься, а тут еще чужое суют.

Макар уцепился за тронувшийся свой паровоз; надо было «больные» вагоны из поезда выключать.

А машинист все ругается, грозит жаловаться начальнику. Видно, как он слез с паровоза и пошел к станции, на платформе подошел к дежурному по станции помощнику начальника и стал говорить ему что-то. Минуты через две кликнули Макара. Макар торопливо прошел на платформу к дежурному по станции и снял шапку.

— Ты что же это паровозы не сцепил?

— У меня свое дело было, выключаем «больные» вагоны. А из депо завсегда старший стрелочник выводит, он и сцепку делает. Вы ничего не изволили приказать, я и не знал...

— А-а, не знал!

Помощник начальника размахнулся и... бац! Кулак у него был большой, костлявый и волосатый. Голова Макара сильно мотнулась в сторону, лицо смертельно побледнело и обезобразилось, под глазом разбитое место налилось кровью и посинело. Дежурный круто повернулся и ушел. По платформе ходили жандармы, кондуктора. Все делали вид, что ничего не замечают.

Макар мял шапку, растерянно глядя кругом себя помутневшим взором, постоял и потом тихонько пошел, забывая надеть шапку, к своему паровозу: дело не ждало.

Снова надо было бегать по песку, пролазить под вагоны, сцепливать, давать сигналы свистком, флагом,

и Макар все это делал; и казалось — ничто кругом не изменилось, но почему же эта едкая горечь и боль томят душу? Что особенного случилось? И разве у Макара по-прежнему не было пятерых детей, жены, тещи и отца, которые аккуратно ели каждый день? А раз это остается попрежнему, значит и все остальное попрежнему, значит ничего не случилось; значит надо бегать от вагона к вагону так, как бегал третьего дня, как бегал все эти десять лет.

И он продолжал бегать.

Приходили и уходили поезда, станционная платформа оживлялась и пустела, наступила ночь. В темноте труднее и опаснее работать. Раза два Макара едва не защемило между сдвинувшимися буферами. Часам к двенадцати стал размаривать сон. Глаза слипаются, походка стала неверной; спотыкнешься или зацепишься — и конец. И борется с собой Макар, борется с дремотой, — дело ведь не шуточное, жить каждому хочется. Но чем ближе подходил рассвет, тем мучительнее становилось работать; предутренний конец дежурства — самое тяжелое время. Стал цепляться Макар за рельсы, за шпалы, колени подгибаются, толкается о вагоны, в голове шумит, с трудом и звуки стал разбирать: иной раз свистнет паровоз, и не знает Макар, свисток это или так показалось ему. И все, что кругом делалось, казалось Макару смутным и неясным, точно это был сон, и давило его что-то, и хотел он проснуться, и не мог.

Видит Макар — не совладать ему с собой, все равно упадет где-нибудь или повалит его вагоном и зарежет. Чтобы дотянуть несколько часов до конца дежурства, неизбежно приходилось прибегать к возбудителю, и Макар, улучив минуту, поплелся в буфет. Плеская водку дрожащей рукой, он опрокинул одну рюмку, другую. И тогда разом кругом посветлело, предметы стали выпуклее и резче бросались в глаза.

— Никак ноне съел, Макар? — проговорил, прожевывая, один из кондукторов.

И вдруг где-то сидевшая в глубине горечь, едкое чувство обиды и попранного человеческого достоинства, задетые неосторожным вопросом, прорвались нестерпимой болью.

— Да што ж ты думаешь, он имеет полное право бить, значит, по морде? Кто такие права ему давал? Таких прав нет! А ежели я да не стерплю? А? Нет, ты скажи, ежели не стерплю я? А? Ежели я да протокол составлю, да в суд подам? А?

— Не подашь, — спокойно догрызая рыбий хвост, проговорил кондуктор.

Это подлило масла в огонь. Макар вспыхнул.

— Не подам? Не подам? Нет, подам! Потому правов таких нет, чтоб морду бить людям. Что ж я — не человек, скотина, што ли? Собаку ткнут сапогом, и та визжит, а почему я должен молчать? Жандарм, прошу составить протокол. Протокол прошу составить, насчет бою, тоись, значит, в морду дал дежурный по станции и разбил глаз.

— Ну, будет, Макар! — проговорил старший жандарм, подходя к нему и фамильярно кладя руку на плечо. — Ну, что толку? Составишь протокол, тебя же зараз и выгонят. Поинял, что ли, ты от *этого*? А что насчет глазу, так это один пустяк: возьми свинцовой примочки на пяточок, завтра к обеду ничего не будет. Да я и протокол составлять не буду.

Макар было уже согласился с доводами жандарма, но последние слова взорвали его.

— Как, протокол не составите?! Что это за порядки! Господа, будьте свидетели, господин жандарм не хочет протокола составить, что мне морду избили.

Жандарм поморщился.

— Ну, ступай в дежурную. На свою голову составляешь.

Протокол был составлен.

Опять бегают Макар, трубит в рожок, накидывает вагонные крюки, и хотя с трудом вытаскивает вязнушие в песке ноги, но кажется ему, что ноги стали длиннее, выросли и шагали широко и уверенно. И кругом стало веселей и просторней, весело накатываются и звенят буферами вагоны, весело посвистывает где-то далеко впереди паровоз. Та горечь, ноющая боль, что сверлила где-то в глубине души, пропала, и пропала она в тот самый момент, как он своей заскорузлой, черной от нефти и грязи, дрожавшей от усталости рукой вывел каракулями под протоколом: Макар Чушкин.

Уже посерело небо, уже в редевшем сумраке стали выступать невидные дотоле дальние вагоны, станционные здания, депо, столбы телеграфные, водокачка.

— Ма-ка-а-а-р! — пронеслось в утреннем воздухе.

Макар приостановился:

«Никак, кличут?»

— Ма-ка-а-а-р!.. — донеслось опять с платформы и потерялось между станционными зданиями, между вагонами, которые были теперь все видны, как на ладони.

Макар бегом направился к станции.

— Иди, начальник кличет.

Держа шапку в руках, он робко вошел в комнату начальника. Тут же был и дежурный по станции.

— Ты протокол составил?

— Я, ваше благор... это я, значит, так... для примеру только... я его сейчас же порву, ваше благородие... — проговорил Макар, заикаясь, бледный как полотно.

— Вон! Завтра получишь расчет.

Макар стоял, как громом пораженный.

— Тебе говорят, сейчас же вон!

И начальник взял его за плечи, повернул и вытолкнул из комнаты.

Макар ничего не видел, не слышал, не соображал. Он механически перешел через полотно и огляделся помутившимся взором.

Солнышко взошло и стояло высоко над землей, утренние тени тянулись от вагонов, столбов, землянок, станционных зданий.

Как и вчера, зеленел могучий степной простор, синела даль, и звучала радостная неслышная песнь весны. Вдали маячили кибитки калмыков, и по степи гнали табун лошадей. Над полотном в разных местах белым паром курились паровозы. Все было по-старому, но Макару казалось, что он идет среди развалин и кругом лежат груды обломков.

Над депо белой струей вырвался пар, и гудок далеко зазвучал по степи. Это теперь Макар покончил бы дежурство и отправился бы к себе домой.

А разве теперь он идет не домой?

Макар постоял с минуту на одном месте и пошел... к Семенычу...

Через полчаса он вышел оттуда, качаясь во все стороны, точно на палубе во время шторма; порванных сапог на ногах у него уже не было. И он направился к своему вагону, рассуждая сам с собой пьяным голосом:

— Почему? В каком смысле? Морда, напримерыча... значит, чтоб бить ее... Ты што такое? Сопля, тьфу! Растер— и нет ничего. И пррравильно!.. На то начальник. А ты слухай его и производи, какие распоряжения от него есть, и не думай о себе много. Што такое, съездил раз? Эго даже за честь почитай, потому что они — начальники тебе, тоись замест отца стало быть. Тебя в морду, а ты кланяйся ниже, благодари, потому для тебя же, дурака, для твоей же пользы...

Хозяйка увидела издали Макара.

— Пьяный! Головушка ты моя бедная! Ребятишки, бегите отсюда! Вишь, руками размахивает, кабы драться не стал.

Макар, качаясь из стороны в сторону, точно его валило то туда, то сюда, босой, подошел и бессильно опустился на стоявший возле ящик с углем.

Хозяйка глянула ему на ноги и так и всплеснула руками:

— И сапоги пропил! Окаянная ты сила! С ума ты сошел, что ли? Вымотал ты душу мою грешную, кровопивец, губитель ты, изверг ты наш несчастный! И наказал же господь каторгой! У людей мужики как мужики: ну, не без того, и выпьют когда, да не тянут же из дому, а этот, что под руку ни попадется, все в кабак.

К удивлению, Макар не только не бросился на нее бить за это, а заплетающимся, коснеющим языком подозвал оробевших детишек и, отдавая их запахом перегорелой сивухи, стал гладить по белокурым головкам заскорузлой, грязной, в нефти, рукой:

— Соколятки мои, поросяточки! Нн... ничего, привыкайте, набалованы, кажный день ели... теперя привыкайте, штоб, значит, с передышкой, потому кажный день нам исть никак нельзя, не полагается, не туда рылом вышли... Н... ничего, попоститесь, ан привыкнете... До всего можно дойти, значит, своим умом... Ежели человек умный, то он может исть через день там, скажем, али через

два, потому человек — создание божие, все он превзошел... Милые мои соколяточки... Глазеночки-то лупают, ничего не понимают, — и Макар ронял пьяные слезы на лица притихших ребятишек.

Хозяйка стояла, как онемелая; она не знала, что случилось, но в словах мужа слышалось что-то грозное и умолимое. Одно знала хозяйка: некуда обратиться, некому заступиться.

ЛЕДОХОД

I

Во мраке шумел холодный ветер и бурлила река. За железнодорожной насыпью вздымалось море. В темноте не видно было ни волн, ни белой полосы прибоя, только слышно было, как что-то вздувалось тяжело и шумно, обдавая по ветру насыпь соленой пеной и влагой, потом в бессилии с плеском и шипением разливалось у подножия насыпи, шум и плеск стихали, удалялись в глубь непроницаемого мрака, на секунду наступала тишина, все смолкало, и потом снова нарождались, разрастались и заполняли темноту ночи грозные голоса моря. Вверху гудела телеграфная проволока, и металлический, за душу хватающий унылым однообразием звук, ни на минуту не ослабевая, бежал, выделяясь из всех других звуков бурной ночи и разыгравшегося моря. От телеграфных столбов тоже несся однообразный, ровный и таинственный гул.

Во двор маленького домика, приютившегося у самой насыпи, вышел босой, в одном белье, хозяин, мелкий торговец. На секунду по земле, по огороже мелькнула длинная, узкая полоса света, мгновенно погашенная прихлопнутой дверью.

В первый момент Шаблаев после света ничего не мог разобрать; постоял с минутку, глаза привыкли к темноте, и он стал различать черную громаду насыпи, возвышавшейся за двором.

Шаблаев обошел дом, попробовал замок на воротах и в лавке и спустил с цепи радостно прыгавшую на него и повизгивавшую собаку.

— Урожай будет, дружная весна... О-хо-хо, прости господи... Часа два, небось.

Он широко зевнул, поеживаясь и пожимаясь от ночной свежести, и перекрестил рот.

Сильный порыв ветра донес с реки звук, похожий на человеческий вопль. Шаблаев чутко прислушивался: по-прежнему шумел ветер, бурлила река, билось внизу у насыпи море и жалобно звенела проволока.

— Попритчилось, вишь погода-то.

И, одиноко белея среди ночного мрака, он направился к двери.

В промежуток, когда отхлынул и присмирел морской прибой, снова и уже явственно донеслось:

— Пропада-аю... ратуйте, добрые люди... погиба-аю...

Шаблаева как ножом полоснуло по сердцу:

— А ведь и впрямь человек: либо тонет, али воры режут.

Он бросился в дом и стал торопливо одеваться.

— Мать, а мать, гони скорей Ванятку в полицию: на реке человек тонет, либо режут.

— А?.. Что?.. Чего не спишь? — говорила женщина, приподнявшись на постели и с усилием раздирая заспанные глаза.

— Буди Ванятку, говорю.

Шаблаев достал из-под кровати толстую железную палку и бросился из дому. Как раз мимо двора ехал за-поздалый извозчик. Шаблаев остановил его:

— Стой, слышишь, человек на реке тонет, надо помощь дать...

Тот хлестнул лошадь и скрылся. Шаблаев вскарабкался по насыпи и побежал по шпалам, спотыкаясь и цепляясь за рельсы. А кругом стихнет на минуту, потом набежит из-за реки ветер, и опять слышно, как в темноте, надрываясь, кричит и молит кто-то о помощи:

— Погиба-аю... отцы родные... из последних сил... мочи моей нет...

У переезда, неподвижно выделяясь темной фигурой, стоял сторож.

Шаблаев подбежал к нему.

— Что же стоишь, не слышишь — человек тонет.

— Слышу, часа два уж он кричит, да что сделаешь.

— Почему ты не дал знать на спасательную станцию? ведь она тут же, возле.

— Какая станция? Не знаю я... Мне с поста нельзя сходить...

Шаблаев бросился на станцию и стал стучать.

— Вставай, дед, давай лодку да поедем спасать человека.

За дверями дед кричит, возится, лазает руками, никак крючка в потемках не найдет; наконец нашел, отложил.

— Чего надуть? Что за люди?

— Лодку давай, ехать надо.

— Ась?.. Не слышу.

— Э, старый глухарь! Лодку, тебе говорят, давай скорей да поедем, человек тонет.

Дед обиделся.

— Чертяка его занесла!.. В экую непогодь тонуть вздумал. Куда мне ехать? Старый я человек, не совладаю, все одно пропадем, слышишь, как река бурлит, а темь... Подождать бы до утра. Ну, да попробую звонить — не услышит ли кто, которые записались у нас добровольцами. О господи Иисусе, мать божия!..

Вышел дед, пожимается от холода, кричит. Подошел к столбу, взялся за веревку колокола и начал дергать. И среди глухой ночи стал тревожно разносить ветер над слободкой, над спавшим городом беспокойные, торопливые звуки набата. Только трудно было ожидать, чтобы услышал кто: был второй час ночи, все крепко спали. Из-за звука ли колокола не стало слышно, ослабел ли человек, или утонул, только с реки ничего не доносилось уже, кроме шума ветра да плеска волн.

— Ну, так я сам поеду, — с сердцем проговорил Шаблаев, — нельзя же христианской душе дать пропасть.

Он спустился к реке, отвязал лодку, ухватился за весла и стал грести. Течение моментально подхватило лодку; неясные очертания берега, темный силуэт станции пропали. Кругом была непроглядная темь да смутно мелькавшая мимо бортов темная водная поверхность. Водовороты, крутясь воронкой, с угрожающим бульканьем проходили под лодкой, поворачивая ее во все стороны и стараясь втянуть в пучину. Переполненная весенними водами река рвалась, как бешеная, между теснившими ее берегами.

Дед некоторое время продолжал дергать веревку от колокола, потом подвязал ее к столбу, постоял немного,

послушал, как шумит ветер и вода, почесал спину, зевнул, покрестил рот и пошел в свою каморку:

— О-хо-хо-хо... помилуй нас грешных, господи, мать пресвятая богородица. Ишь ты, в какую непогоду да темь искать его. Не могли подождать до утра. Где его теперя сыщешь? Ну, да надо думать, теперича он потонул. Да и этот тоже потонет... О-о-хо-хо... господи помилуй!

Через минуту в каморке стал раздаваться мерный храп деда.

II

На берегу не было ни одного живого существа. А на середине реки, среди волн, среди ветра и непроглядной ночной тьмы бился Шаблаев. Он был совершенно один, отрезанный от всего мира. Куда ехать? Ни звука, ни огонька, никакой приметы, непроглядная густая тьма сверху, с боков, со всех сторон шла вместе с лодкой, и слышно лишь было, как торопливо плескались волны о борта. Ледоход на реке кончился, но еще пронеслись ледяные глыбы и порою их белесоватые очертания смутно выступали в темноте и в следующее же мгновение исчезали во мраке, уносимые течением. Если одна из таких глыб ударит в лодочку, она сейчас же пойдет ко дну. С берега никто не подаст помощи, да и пока соберется народ — все будет кончено.

«Ворочусь ли, нет ли теперь домой, — думает Шаблаев, — и человека не спасу, и сам погибну. Если повернуть к берегу, успею еще прибиться».

Но где берег? Откуда и куда идет течение? Куда надо держать? Тьма все перепутывает, все уравнивает: нет ни левой, ни правой стороны, кругом один и тот же однообразно непроницаемый мрак. Шаблаев понял, что кружится в темноте на одном месте и несет его быстрое течение к морю, а там — верная гибель. Он уже теперь не думал о том человеке, для которого выехал, и отчаянно работал веслами наугад, только бы выбраться из этой пучины.

Вдруг над рекой среди ночной мглы пронеслось:

— Ратуйте, добрые люди!..

Шаблаев изо всех сил налег на весла. Теперь ему одно спасение — этот крик: там берег. Он повернул лодку в ту

сторону, откуда донесся крик, и стал грести. На руках вздулись пузыри, взмокшая рубаха прилипла к телу, в висках стучало от чрезмерного физического напряжения, а лодка как свинцовая, не разберешь — подвигается ли она хоть чуточку вперед, или сносит ее вниз течением. И кажется Шаблаеву, что он тут уже целую ночь бьется с нечеловеческим напряжением, а крики о помощи все так же доносятся издали. Ни на минуту нельзя передохнуть — сейчас же подхватит бешеное течение.

Стал он приходить в отчаяние.

— Господи, неужто отсюда не выберусь!..

И когда он уже меньше всего ожидал — слышит, впереди в темноте разговаривают.

«Много их, — думает Шаблаев, — подъедешь, кинутся сразу, опрокинут лодку».

Он попридержал лодку и крикнул:

— Много ль вас?

— Двое: я да... собака.

Шаблаев стал опять грести, потом схватил приготовленную веревку и кинул по тому направлению, где виделся темный силуэт. Должно быть, там ухватились, так как веревка натянулась. Шаблаев стал подтягиваться, но вдруг веревка ослабела, скользнула в воду, и лодку понесло на низ, а из темноты послышалось:

— Закостенел я, не слушаются руки, не могу удержать веревку.

Схватился опять за весла Шаблаев, подъехал и бросил веревку. Она упала на льдину и зацепилась за угол. Шаблаев подтянулся вплотную, смутно видит — в темноте стоит на «крыге» человек, трясется, стучит зубами, бежит с него вода, а на руках держит собачонку.

Шаблаев взял собачонку, потом втащил человека в лодку, оттолкнулся, подхватило их течение, завертело, пропали льдины, и опять кругом только непроглядная темь да все та же смутно колеблющаяся, бегущая мимо темная поверхность воды. Куда теперь ехали, где были берега и в какую сторону шло течение — никто не знал. Мерный и грозный шум, то выраставший, то падавший, становился явственнее. Это было море. По сторонам от лодки попрежнему выступали и исчезали в темноте проносившиеся льдины.

Когда сюда ехал Шаблаев, он держал путь на голос, теперь же, кроме шума течения, ничего не было слышно. Работает он веслами наудачу, озирается и вдруг видит во мгле, как звездочка, загорелся огонек. Видно, это извозчик подъехал к берегу, либо догадались фонарь выставить. Шаблаев поворотил туда лодку и стал грести. Огонек понемногу стал делаться ярче и вправо все отходит: сносит течением лодку.

Страх совсем прошел у Шаблаева. Серебряная медаль «за спасение», похвалы, удивление его подвигу, то, что о нем будет говорить теперь весь город, и вместе жалость к этому дрожавшему и не попадавшему зуб на зуб человеку, с лохмотьев которого бежала холодная вода, — странно путаясь, мешались с впечатлениями темной ночи, плеском реки, шумом ветра и отдаленным прибоем моря.

— Да ты как врюхался-то?

— Я-то, — слышался в темноте глуховатый голос, — думал, переезд тут у вас. Иду, значит, по берегу, ни парома, ни лодки. Лед хрустит под ногами. Собачонка впереди бежит, темь такая, хоть глаз выколи, не разберешь — не то лед на берегу лежит, не то на воде, да вдруг провалился и с головой окунулся в воду. Барахтаюсь, цепляюсь за лед, а он расходитя под руками, мелочь набило к берегу. Уцепился за крыгу, вылез, а она закачалась и отошла от берега. Испужался: вот унесет, думаю, течением, — опять в воду, да никак не пробьюсь, мелкий лед кругом; заоченел весь, вижу — тону, опять кое-как уцепился за толстую крыгу, насилиу вылез, и собачонка выпрыгнула. Колышется проклятая крыга под ногами, вода на нее забегает, отделилась от берега и поплыла по течению к морю. Пропал, думаю... Но крыга зацепилась, покачалась и стала. Стал я кричать; кричал, кричал, голос порвал; никто не подает помощи, и кругом темь, хочь глаз коли. Проходит час, другой, стал я костенеть... Ежели, думаю, останусь на крыге, не доживу до утра, а в воду прыгну, сейчас же, как ключ, пойду ко дну. И лег на лед. Сначала было холодно, а потом стал сон клонить. Тут бы и смерть, да собачонке, видно, не хотелось помирать: прыгает, визжит, лижет лицо, а то вдруг зачнет выть, да так, аж за сердце хватает, не дает покою. Поднялся, взял собачонку на руки и стал опять кричать. Обессилю, потерю голос,

замолчу, а потом опять. Последний раз думал: ну, покричу еще, не подадут помощи — слезу в воду.

Шаблаев снял с себя кафтан и кинул незнакомцу.

— Вот спасибо, а то нутро трусится.

— Да ты из каких будешь?

В темноте помолчали, потом опять послышался сиплый голос:

— Нездешний.

Некоторое время весла мерно падали в воду.

— В работниках живешь али как?

— Не-ет, по заводам больше работал.

Опять помолчали.

— Был конь, да изъездился, был работник, да изно-сился. Теперь иду в свою деревню; дохтора сказывают, у меня в груди половина нутра сопрела, да брешут... Жена у меня там, мы уж года четыре, как врозь живем.

— Что так, али баба плохая?

— Баба как баба. Ну, конечно, гладкая, ядреная. Баба, братец ты мой, такая, что поискать, смелая да веселая, палец в рот не клади, живо оттяпает. Ну, и красивая!

Сидевший с собакой человек, видимо захваченный воспоминаниями, вдруг выругался скверно и цинично:

— Там уж, брат, и баба же!

Богобоязненного Шаблаева покорило.

— А ты в темь да на воде не ругайся.

Снова замолчали, и лишь слышались всплески падающих весел, да ветер попрежнему бежал над рекой.

— Четыре года не видались, — опять, заговорил незнакомец, — приду, прямо заявлю: Фекла, будя, набаловалась, и будя. Чего там... Теперь с штейгером живет, — добавил он помолчав.

В носу лодки шумели и пенились волны, и раза два невидимо пронесившиеся льдины стукнули в борта.

— Два года за нее сватался, вострая девка была: пойду, говорит, за тебя, коли ежели пить и бить не будешь, да в бедности, говорит, жить не хочу. Ну, поженились, в деревне какая жисть: бедность, грязь. Ушел я от отца, поселился на заводе. Хорошо зарабатывал — два, два с полтиной в день. И весело жили с Феклой, времечко было! Она, бывало, красивая да веселая, гости, музыка, э-эх!..

— Ну, и дожились, — иронически проговорил Шаблаев, начиная чувствовать какое-то глухое недоброжелательство к своему собеседнику.

— Всего с год так прожили, — продолжал тот, не замечая тона Шаблаева, — потом на заводе штаты сократили: заказ большой сдали, ну, конечно, лишних рабочих и отпустили. Я под увольнение попал, остались с Феклой мы ни с чем. Денег ни гроша. На заводе как: сколько ни получишь, мало ли, много ли, все проживешь, жизнь, значит, такая. Кинулся я туда, сюда — нет местов, везде битком. Трудно было, одежду всю проели, прежде я с форцем ходил, а то обносился, чисто босяк; Фекла обтрепалась, то гладкая была, а то высохла, худая, желтая да злая стала. Одежду проели всю. Тут промеж нас свара пошла. «Что ж ты, говорит, за муж такой, жену не можешь содержать, на кой ляд ты мне сдался, мужчину я, говорит, завсегда себе найду». Побил я ее, напился со злости. Поступили мы тут на табачную фабрику, ну, тоже долго не продержались, потому, как подошла зима, привалило народу, плату сбавили, могуты не стало, впроголодь живешь в подвале. Стали заявлять в конторе, чтобы прибавку дали, нас и прогнали совсем. Много, говорят, вас теперь шляется, и дешевле пойдут работать. Тянулось так года два: найдешь работу, на завод, на фабрику поступишь, станешь оправляться, одежду заведешь, полюдски мало-мало станешь жить, когда и чайком и водочкой в трактире побалуешься, пройдет месяцев пять, шесть — глядь, ая ты и без места: либо производство сократили, лишних рабочих уволили, али со старшим зацепка выйдет, — ну, и начинаешь проедать одежду, опять сказка про белого бычка начинается снова. Наш брат, как на краю лежит: чуть тебя пихнет и покатился, карабкайся снаисызнова.

— Ты для легкости, видно, и пропил все, босячком стал.

— Жена меня бросила, — продолжал незнакомец, попрежнему не замечая иронии в реплике Шаблаева. — Бросила. «Я, говорит, молодая и жить хочу в свое удовольствие, а ты, шалга, куда хочешь». Тут уж я ее хорошо побил, два зуба выбил, ухо оборвал, ребро подшиб. А в конце концов она живет теперь со штейгером. Я и закутил тогда: все пропил. Месяц целый в голом виде в босяке

сидел, мастерская столярная недалеко была, так в стружках спал. Потом в Питер попал, там всего навиделся.

— И тюрьмы, небось, нюхал? Дай-ка сюда кафтан...

— Всего бывало. Ну, только замучился. Пить даже бросил, выпью, все назад. Не могу, не принимает. Теперя иду домой в деревню, недалече там шахты, так на шахтах жена со штейгером живет. Скажу: «Фекла, будет, брось, побаловалась и будет. Возьмемся за работу, отец помощь даст, опять на ноги станем». В боку все юлит: в больнице сказывали, половина нутра отгнила, дескать. Врут. Только бы одно: полиция не взяла бы. Такого особенного за мной ничего не числится, ну только по бумаге я должен итти в Мариуполь, а я вот в деревню. Защищено сердце. Не могу, то есть вот хоть помереть, а Феклу хочется повидать, сказа́ть ей, что весь сурьез промежду нас кончился, а потом в город айда, пропишусь, и, значит, заживем с женой, как спервоначалу. По волчьему билету ведь я.

Шаблаев на секунду задержал в воздухе весла.

— Как говоришь: по волчьему?

— По волчьему билету.

Шаблаев с силой зашумел веслами о воду и сильно двинул лодку вперед.

Опасности, которые ему угрожали со всех сторон во тьме, теперь казались нелепыми, бессмысленными, точно он сделал какую-то грубую ошибку, сделал не то, что следовало.

Он почувствовал усталость. Руки с усилием откидывали весла, поясницу ломило. В голове беспорядочно проносились картины его лавки, дома, толстые двери, крепкие запоры, глухие ставни и то чуткое ощущение напряженности и осторожности, с каким он всегда прислушивался по ночам, карауля свое добро домовитого хозяина.

Собачонка спрыгнула с рук незнакомца на дно лодки и взвизгнула. Тот нагнулся и взял ее опять на руки.

— Тише, чорт, лодку качаешь... так и двину веслом.

Перед носом лодки из темноты неясно выступил берег. На берегу смутно виднелись темные силуэты людей, извозчицей пролетки и лошади. Свет фонаря с передка пролетки падал узкой полосой на темную воду и дробился в набегавших волнах. С моря все так же грозно и мерно доносился шум прибора.

Лодка мягко вошла в песок. К ней подошел извозчик и два полицейских с бляхами.

Шаблаев не спеша сложил весла и выбрался на берег. Выбрался за ним и незнакомец. Он стал благодарить все тем же сиповатым голосом за свое спасение, потом сделал движение уйти.

— Погоди, — проговорил Шаблаев, положив ему руку на плечо; и потом, обернувшись к полицейским, проговорил: — Берите его, — беспашпортный!

1903

НА БЕРЕГУ

1

Огромной чернеющей громадой стоит у набережной пароход, притянутый толстыми канатами. Стройные мачты легко и свободно поднимаются, впиваясь в голубое небо острыми верхушками. Низкая, прокопченная, слегка подавшаяся назад труба угрюмо и беззвучно дымит слабо вьющимся дымком. Воздух над ней дрожит и колеблется, и могучая дремлющая сила чудится в молчаливо разверстой черной пасти.

Темные круглые стекла каютных окон, как сонные глаза огромного тела, глядят молча ничего не говорящим взглядом. На капитанском мостике никого нет, и неподвижно и одиноко вырисовываются рукоятки румпеля. Как змеи, извилисто тянущиеся цепи, сложенные канаты, свернутые паруса, пустота и безлюдье на палубе — все говорит о покое и отдыхе после непрерывной, день и ночь, работы, от которой бежали содрогания по всему огромному, из железа и стали телу, боровшемуся с водной стихией и сделавшему не одну тысячу верст.

Только в одном месте и теперь не знают отдыха. С берега на борта переброшены широкие сходни. Сгибаясь, пропадая совсем под огромными тюками, ящиками, кулями, с дрожащими коленями, непрерывно, как муравьи, один за другим сходят по мосткам оборванные, босые, в одних рубахах и портах люди, и пот крупными каплями падает из-под тюков на гнущиеся под ногами доски. Сбросив под навесом на берегу ношу, они на секунду выпрямляются, вытирают красное от натуги, блестящее от пота

лицо и опять бегут на пароход, к тому месту, где зияет в палубе черным провалом открытый люк.

У люка стоит помощник капитана и записывает в маленькую книжечку выгружаемые «места». Возле лебедчик поворачивает рукоять паровой машины, и цепи переливчато, с говорливой торопливостью бегут с огромного, как гигантская рука, подымающегося над палубой крана в чернеющую пропасть. Оттуда, как будто из самой внутренности земли, доносится глухой, ослабленный расстоянием голос:

— Сто-оп!..

Лебедчик одним поворотом останавливает машину, и мгновенно смолкает, как подрезанный, говор цепи. Несколько человек наклоняются и глубоко внизу, как в пропасти, слабо различают копающихся людей. Видно, как в полутьме они хватают крюк, висящий на конце цепи, и цепляют за него несколько бочек и ящиков, перехваченных канатом.

— Вира-ай!.. — доносится оттуда.

Поворот руки — и машина легко и свободно, словно играя, начинает проворно выбирать цепь. Цепь бежит вверх, и в чернеющее отверстие показываются неуклюжие пузатые бочки, огромные ящики, толкаясь о края люка. Все это выбирается, наконец, на свет, и только теперь видно, какая это громадина. Кран делает полуоборот, и бочки и ящики повисают над палубой.

— Майна!..

С секунду цепь гремит вниз, и огромная гора ложится на палубу. Подбегают крючники и взваливают ящики на покорно подставленные спины, а бочки начинают катить. И ящики, важно покачиваясь, шевелясь, чувствуя себя господами, шествуют по мосткам, вот-вот готовые раздавить, смять, изломать идущих под ними с трясущимися коленями людей, но благополучно добираются до берега и валятся к своим собратьям громоздящейся огромной горой.

А там уже опять слышится: «Майна!.. Сто-оп!.. Вира-ай!» — с нестерпимым звенящим звуком бегут цепи, попрыгивает машина, поворачивается кран, и на палубе появляются все новые и новые тюки, ящики, бочонки, свертки, кули, короба, точно цепь вытаскивает все это из бездонной бочки, и нет им и не будет ни конца, ни края. Как ни

громаден пароход, но, глядя на него, трудно себе представить всю колоссальную емкость его трюмов, скрытых под водой.

Солнце подымается выше и выше, тени подползли к зданиям и стали короткими и тупыми, начинает размаривать жара. Сверкает и шевелится шелковистая рябь спокойного моря, и голубая теряющаяся даль его пропадает в синеве спускающегося неба. Как белые клочки бумаги, белеют чайки, и одиноко, узкими черточками среди сверкающей ряби чернеют лодочки рыбаков. У набережной теснятся пароходы, шкуны, баржи. Показывая голубому небу истрескавшееся дно, лежат опрокинутые на берегу лодки. Стоит говор, шум, лязг цепей, вздохи машин, упорный, ровный воющий звук паровых гудков, восклицания, песни, брань. С улиц разбросанного по берегу городка доносится дребезжание дрожек, а над всем молчаливо и задумчиво подымаются горы.

Грузчики кончили выгрузку, но отдыхать нельзя, надо приниматься за нагрузку. Штабеля полосового железа, доски, бунты хлеба, бочки с вином возвышаются на берегу и ждут своей очереди. И опять бегают с берега на пароход потные, усталые люди, опять гремит цепь, подымаясь и опускаясь в пропасть парового трюма, черною пастью глотающего приносимые «места», поворачивается кран, и слышится отрывистое, надоевшее: «Майна!.. Стоп!.. Вирай!..» А солнце с зенита беспощадно обливает слепящим зноем нестерпимо сверкающее море, пароходы, набережную, беленький, рассыпавшийся у берега городок и горы, молчаливо глядящие верхушками в недоступную даль.

II

Это была маленькая, лет трех, девочка, с голубыми глазками, с белыми, как лен, волосами, в ситцевом платьице и крохотных желтеньких туфельках. Она бегала, облитая солнцем, как розовое пятнышко, по набережной, лазала между наваленными кулями, тюками, бочками, играла голышами и камешками, разбросанными по земле, и потом, остановившись и прикрыв глазки ручками, ладонями кверху, точно ей мешал солнечный свет, прозвенела тоненьким голоском:

— Я хацу к маме.

На набережной никого не было. Неподвижно возвышались бунты хлеба, штабеля досок и железа, море сверкало.

— К ма-аме хацу!

Этот тоненький голосок опять странно прозвенел над набережной, над сонно поблескивавшей у берега водой и залетел в тень опрокинутой на берегу старой, сквозившей прогнившим дном баржи, откуда неся гомерический храп. Кудластая голова неподвижно лежала на земле, казалось, независимо от огромного поднимающегося горой тела. Судорожно вздрагивала при всхрапывании широко открытая лохматая грудь. Повернутая обнаженная неестественно толстая шея билась выступавшими жилами, и два кулака, неумело и грубо выделанные и плохо обтесанные, лежали спокойно и тяжело по концам раскинувшихся рук.

Не обращая внимания на эту неподвижную тушу, сидит возле татарин, блестя бритой, усеянной точечками головой с оттопыренными ушами. Он раскачивается, подложив под себя накрест голые ноги, заунывно, негромко подвывая, тянет тоскливым и однообразным голосом не то песню, не то жалобу, мерно помахивая иглой с ниткой, зашивает изодранные штаны.

Двое бьются в карты — парень с испитым веснушчатым лицом и ввалившейся грудью и длинный, нескладный, с бегающими глазами и с красивыми, но острыми и хищными чертами черного от загара лица горец в лохмотьях.

— Давай!..

— Чего давай? Карту покажь.

— Давай деньга, говорю... Проиграл, давай!..

И острые черты горца вспыхивают ненавистью, тонкие вырезы ноздрей хищного носа раздуваются, зрачки искрятся.

— Давай!.. — гортанно, с угрозой вырывается из-за сверкающих сквозь усы зубов, и сухое, жилистое, гибкое тело угрожающе подается вперед.

Парень кидает пятак.

— Сволочь!..

Они сидят на земле и продолжают хлопать невероятно засаленными, свернувшимися коробом картами, следя друг за другом горячими, жадными глазами. Сквозь про-

гнившее дно прихотливо ложатся на землю пятна солнечного света, гнусаво тянется заунывный голос раскачивающегося татарина, и вырываются потрясающие звуки храпа.

— К маме хацу!..

Татарин поднял бритую, с глядевшими в разные стороны ушами, голову:

— Слышал, ребята кричал?

Лежавшая неподвижно туша шевельнулась, храп прекратился, производя странное впечатление наступившей тишиной и давая место звукам, долетавшим с набережной, с улиц; потом открылся громадный рот и так зевнул, что из золотившихся щелей dna посыпалась гнилая пыль.

— Васька, водка осталась?

— Ходы!

— Давай!.. Хлап виновный мой.

С моря донесся пароходный гудок.

— Никак, наш?

Горец приложил к глазам козырьком ладонь и, щурясь, всматривался в сверкающее до самого края море.

— Не наш. Азовского общества.

— К маме... к ма-аме хацу!..

Пимен повернулся своим огромным телом.

— Никак, дитё? Откуда ему тут быть?.. Скверно, водки нету.

— Говорю, ребята кричал.

— Да неоткуда ему тут быть.

Татарин перекусил нитку, надел штаны и поднялся.

— Маленький ребята повалился в воду, тонул, — чего смотрел?

Он подошел к девочке, присел на корточки и щелкнул языком:

— Ай-ай, какой большой девка, какой отличный девка!..

— К ма-аме хацу!..

Подошел Пимен, горец, подошел Васька, щурясь, независимо позевывая, делая рассеянное лицо, говорившее, что все это его не касается. Пимен тоже присел на корточки и протянул заскорузлые, шершавые, с въевшейся грязью руки.

— Подь, девонька, ко мне! Как тебя кличут-то?

Но эта большая косматая голова на огромном, не-

уклюже присевшем на землю теле, сиплый голос, огромные черные руки показались страшными, и девочка, все так же закрываясь, закричала тоненьким, как волосок, голоском так пронзительно, что Пимен подался.

— Ах ты, шустрая... как уколола!

— Чего лезешь? Вишь, ребята боится, — говорил татарин, отстраняя товарища.

— Да она тебя боится, свина уха.

Подошли сторожа.

— Откеда девочка?

— А кто же ее знает: из города али с парохода. Не то заблудилась, не то забыли, а может, и подкинули... Немыслена, ничего не может рассказать.

Окруженная незнакомыми людьми, девочка, как крохотная испуганная птичка крылышками, закрывалась ручонками, ладонями наружу; маленькая грудь трепетала и вздрагивала, а из-под рук часто-часто бежали чистые, прозрачные слезинки. Она уже не плакала громко, а, захлебываясь, шептала:

— Мама... мама...

— Совсем махонькая.

— Это бывает, што подкидывают: сама села на пароход и уехала, а дитё осталось.

— А может, забыла. Теперя, гляди, убивается на море, да пароход не повернешь.

— Надо в полицию отвести, заявить.

Татарин заволновался:

— Зачим в палицию? Ступай сам в палицию! Такая малая ребята в палицию!..

Он исчез под баржу и через минуту торжествующе вернулся, бережно неся обгрызенный кусочек сахару. Но ребенок не брал сахару и все так же истерически, надрывающе плакал, всхлипывая и задыхаясь.

Татарин взял девочку на руки. Ребенок, обессиленный и измученный, приник к плечу, вздрагивая всем крошечным телом. И странно было видеть рядом две головы: одна — маленькая, с волнистыми белокурыми волосами, другая — большая, с торчащими ушами, угловатая, обтянутая усеянной черными точечками кожей.

— Братцы, да это татарину подкинули.

— То-то он на капитанову жену посматривал.

— Всем бы кавалер, да портки худые.

— Зачинил... Все выл, сидел.

— По форме, стало, кавалер. Теперя дети пойдут... К вечеру, гляди, мальчика найдет.

— Хо-хо-хо... ха-ха-ха!..

— Шалтай-балтай, дурака валяй... Мать, может, на базар пошла, в город пошла... Придет, скажет: «Где ребята?» А я скажу: «Ходы сюда, вот твой ребята». Мать скажет: «Спасибо, Ахмет, на тебе цалковый, выпей на здоровье: ребята малый упал в вода, а ты не давал в вода упасть...» Я пойду, буду пить, а вы шалтай-балтай...

Пимен, с всклокоченной головой, крикнул:

— Ишь, свина уха, ловок! Хоча татарин, а иной раз смекнет не хуже православного. Ты один, што ль, ее увидал? Вместе увидали, вместе и пить будем.

— Да и я не слепой, — гнусавым голосом заявляет Васька, — я не спал.

Девочка, измученная страхом и плачем, заснула. Татарин осторожно положил ее под баржой на тряпье. Стали ждать, когда придет за ней мать и даст на водку, но не дождались, а дождались, что пришел пароход и надо было приниматься за разгрузку.

Опять загремела лебедка, говорливо побежали цепи, из темного трюма стали вылезать тюки, бочки, ящики, однообразно, скучно, монотонно слышалось: «Майна!.. Вирай!.. Сто-оп!..»

К вечеру кончили разгрузку, и татарин, отирая пот, побежал к барже. Оттуда доносился тоненький, плачущий, всхлипывающий голосок. Девочка сидела и кулачками вытирала мокрое, заплаканное личико.

— Чего, девка, плачишь? Не нада плакать. Ай-ай, не нада плакать, бог уха резать будит.

Подошли Пимен и горец, усталые, запыленные, потные, сумрачные.

— Подобрал помет, теперя што будешь делать?

Татарин стоял растерянный, обескураженный. Девочка беспомощно всхлипывала.

— Чорт вислоухий, ну?.. А то вот возьму за ноги — рраз... и мокрого не останется! Веди в полицию, — целую ночь тут скрипеть будет.

— Чего кричишь? Какая ночью палиция? Здоровый дурак, а голова малая! Зачим водка хотел пить вместе?

Татарин присел на корточки и щелкнул два раза языком:

— Ай, девка, ай, балшой девка!

Ребенок всхлипывал, шепча одно только слово:

— Мама... мама... мама...

Пришел Васька, принес хлеба, тарани, огурцов, воды, водки. Сели на землю в кружок и стали вечерять. Татарин накрошил хлеба и дал ребенку. Девочка жадно, торопясь, почти не прожевывая, стала глотать. Крючники, угрюмые, ели молча, много, раздирая сильными зубами сухую, жесткую тарань. Но когда прикончили бутылку водки, стали разговорчивыми и подобрали. Пимен даже отдал свой изорванный, вытертый тулуп, на котором татарин устроил ребенка. В двенадцать часов ночи их подняли опять, и они работали до четырех утра.

На другой день татарин с самого утра поглядывал то на город, то на пристань, к которой подходили пароходы, ожидая, что вот-вот появится кто-нибудь и станет спрашивать о ребенке, но с пароходов сходили пассажиры, из города приезжал и приходил самый разнообразный люд, и никто не заикался о пропавшем ребенке.

— Вечером нада в палицию, — говорил себе татарин. Но опять как-то так случилось, что ребенка не отвели в полицию, смутно чего-то дожидаясь.

Прошло еще два дня. Девочка привыкла к своей новой обстановке, и ее голосок целый день звенел около баржи. Привыкли к ней и крючники, особенно огромный, добродушный Пимен. Он приносил ей ситного хлеба, иногда молока в сороковке, отчего молоко пахло водкой, и после него девочка крепко и долго спала, не просыпаясь. А когда был в хорошем расположении, позволял лазать по своему огромному телу, и ребенок перебирался через него, как через гору. Только Васька цыркал и говорил, что татарин готовит себе гарем, да горец не замечал, словно это была ненужная вещь, — и девочка обоих боялась и дичилась.

III

Заходящее солнце косо заглядывало под баржу, освещая огромное лежащее на брюхе тело Пимена, курившего цыгарку, татарина с подвернутыми под себя накрест но-

гами, Ваську и горца, дующихся в карты, объедки тарани, пустую бутылку из-под водки, огуречные корки.

— Да-а, пятый год, — говорит Пимен, задумчиво глядя на широкий водный простор, — никак не выберешься... как облипло тебя тут. А семейство ждет...

Он помолчал и с долгим шумом выпустил из себя воздух, и это произвело такое впечатление, как будто выпустили ручку медленно осевшего кузнечного меха.

— И ведь шел-то на одно лето, хозяйство чтоб поправить. Теперь парня надо отделять, — небось, женили уж без меня... Что она тут за жизнь — ни богу свечка, ни чорту кочерга, и работа не работа, и покою не знаешь, все безо время. Теперь бы прошелся за сохой али вилами покидал... Э-эх!..

И цыгарка быстро и торопливо стала укорачиваться, вспыхивая и разгораясь.

— Соберу тридцать целковых — и гайда в деревню. Меня уж и ждать там перестали, пять лет ни слуху ни духу... То-то все обрадуются да удивятся, и закурим же!.. Семейство у меня большое, сына, должно, оженили, дочь замуж отдавать, а самой меньшей теперь пятый год: уходил, жена на-сносях была... Не выберешься никак.

И опять кузнечный мех медленно и с шумом осел.

— Одно лето только приду, — заговорил татарин, равнодушно слушавший собеседника, — баба управляетя, две лошади, три коровы, теперя наказал овец тройку купить.

Огромная туша Пимена сердито поднялась и села.

— Нехристь чортов, али ты товарищ? На сотку никогда не выколотишь. Чорт жадный! Не успеет получить — бежит, стерва, на почту. Хошь бы раз пропил с товарищами!

Татарин скосил равнодушно глаза.

— Чего лаишь? Тебе хозяин кабак, я не хотел хозяин, ну, выпей, а остальные деньги гайда домой. Ждал, ой-ой, как ждал дома. Такой малый девка у меня дома ждал.

И сделавшиеся еще более узенькими глазки его и складки кожи на лице полезли врозь. Он глядел на игравшего возле ребенка. Девочка, подражая крючникам, согнувшись, таскала на спине тряпье и, шепелявя, говорила ругательства, которые постоянно слышала. День проходил за днем, и теперь не только перестали говорить

о том, что надо ее свести в полицию, но и позабыли ожидать, чтобы кто-нибудь явился и вознаградил бы их.

— Махан кобылячий, разве от него дождешься? — оторвался от карт Васька. — Жила татарская! И сам-то пьет, как нехристь: выпьет сотку и оглядывается — не много ли выпил... Чорт поганый!.. Девятка! Давай сюда!

Татарин почесал поясницу, зевнул, поглядел на море и полез в угол завалиться спать. Пимен крутил новую цыгарку.

IV

Море, спокойное, чуть-чуть шевелящееся, уходило в белесый утренний туман, который все еще лениво лежал дымчатой пеленой по горизонту, и солнце, касаясь, стояло над ним, озирая светлое лицо моря.

И хотя на море ничего не было, кроме спокойного светлеющего водного простора, что-то неудержимо радостное, молодое было разлито всюду, и казалось — беззвучная, полная восторга песнь неслась навстречу тонко и необъятно синеющему небу, навстречу солнцу, навстречу молодому утру.

Станный и непонятный в первый момент звук прилетел на берег. Он прилетел издалека, оттуда, где лежала дымчатая пелена, и казался призраком звука, неуловимым и мимолетным. И было что-то недосказанное в этом и таинственное. Но потом он прилетел опять, уже осязаемый, оставляя длительный отпечаток в сверкающем воздухе. Он держался ровно, долго, без перерывов, ослабленный расстоянием, настойчивый и однообразный, как умирающий звук поющего самовара, будя представление, что там, за таинственной пеленой, на затерявшейся под солнцем пустыне, — живые существа, что они также чувствуют радость этого утра, приближаются и дают о себе знать.

И на берегу проговорили:

— «Игорь» идет.

На белой пелене смутно и неясно обозначилась черная точка, и нельзя было сказать, что это было — птица ли, или бревно плыло по морю, или чудилось и мерещилось в глазах. Понемногу точка расплывалась в пятнышко, приобретала очертания: вырезались тоненькими черточками мачты; зачернелась маленькая, игрушечная

труба, и из нее, далеко отставая, тянулся черным следом дым.

А солнце купалось и нежилось в синей глубине, играя блеском и погружая ослепительные лучи; пелена тумана быстро таяла, убегая от солнца, от тепла, от радости разгорающегося дня.

И когда туман бесследно пропал, море открылось до самого края, очерченного небом, и над ним грубо звучал хриплый голос, уже ничего не имевший общего со свежестью радостного утра, ничего не было манящего, пленительного и недосказанного. Этот грубый, немножко хриплый голос тяжело звучал, нарушая мелодию утра, говоря лишь об одном — о том, что ничего нет, кроме труда, неустанного, надрывающего, грязного труда. И те, к кому относилось это напоминание, услышали его и вышли на берег.

Тут был и татарин с бритой головой и торчащими ушами, и Васька с тем же испытанным лицом, и черкес, и Пимен, такой монументальный, лохматый, и его огромное тело сквозило сквозь дыры изорванных портов и рубахи. И маленькое, резвое, живое пятнышко бегало по берегу, и тоненький щебечущий голосок звучал, выделяясь среди грубых голосов, говора, брани и смеха.

Пароход, казалось, не приближался, а распухал и разрастался. Толстел и делался грузным, раздаваясь черною громадой, корпус, распухла труба, изрыгая черный клубящийся дым, пухли и длиннели, резко и грубо вырезываясь на голубом небе, мачты, росли белые, подвешенные на кронштейнах шлюпки. Уже можно было различить маленькие фигурки людей, толпившихся у бортов, суетившихся по палубе и стоявших на возвышавшемся над палубой мостике. Работа винта прекратилась, и эта громада, гоня перед собой светлый, вздувшийся, прозрачный вал, бесшумно надвигалась на берег.

С бортов полетели деревянные шары, и мелькнула за ними тонкая бечева, подхваченная ждавшими на берегу людьми. В воду упали концы каната.

Отчаянные истерические крики нарушили ожидание и привычную обстановку причала. Какая-то женщина билась в дюжих руках матросов, порываясь выпрыгнуть за борт, и с берега в ответ разнесся пронзительный, радостный детский плач:

— Мама! Мама!

Винт забурлил в обратную сторону, и черная громада, медленно повернувшись, навалилась на пристань, и ее притянули канатами.

Перебросили мостки, и на берег бросилась, плача, смеясь, со вспухшим от слез лицом, женщина. Она схватила ребенка, у которого вырывалось только одно слово:

— Мама!.. Мама!.. Мама!..

Кругом обступила публика.

— Девочку нашла!

— Убивалась-то как! На море чуть за борт не скакнула, как увидела, что дочери нет. Думала — утонула. Обезумела.

— Мать — одно слово.

Возле стоял татарин, грязный, оборванный, ослабляясь.

— С нами жила неделю... Кормили, жалели... Зачем в палицию? В палицию не нада... Ребята малая, в воду упала, тонула, я не давал тонуть... Мать, значит, да, да... У меня тоже девочка, махонькая, вот... — И он невысоко показал рукой от земли. — Мать, да, да...

Девочка лепетала, мать безумно ее целовала.

— Мама, возьмем музиков, музыки доблие... Мама, тут много камесков. А у дяди Пим голова болса-ая... А он мно-ого сундуков носит... Мама!

Она лепетала, переплетая детские слова со скверными ругательствами, которые выговаривала смешно, по-детски, присюсюкивая, и от этого они казались особенно отталкивающими и циничными. В публике засмеялись.

— Ишь ты, этому допрежь всего обучилась...

— Этому обучится...

— Молиться не выучится, а уж этому обучится.

— За это надо хворостиной.

Мать побледнела как полотно и смотрела на ребенка расширенными, полными ужаса глазами.

— Ах вы, подлые люди! Тьфу!..

И она плюнула в лицо татарину, взяла ребенка на руки и быстро ушла на пароход. Кругом захохотали.

— Что, Ахметка, получил на чай?

— Ахметка, угости! Обещал.

— Теперь Ахметка с чаю-то разжиреет, барином делается...

— Кавалер форменный...

— Поищи, может еще подкидыш навернется, — выгодное дело.

— Эй, крючники!..

Загремела лебедка, цепи говорливо, со звоном пошли в трюм.

— Сто-оп!..

С парохода и на пароход шли пассажиры.

— Майна!.. Сто-оп!.. Вира-ай!..

А солнце так же ослепительно ярко стояло над морем. Море, светлое и спокойное, чуть-чуть шевелилось и уходило в далекую открытую даль.

В БУРЮ

I

— Ай-яй... ай-яй-яй!.. — разносились над гладкой сверкающей поверхностью моря пронзительные крики Андрейки, извивавшегося в лодке. — Де-едко... не буду!..

Дед — коренастый, с нависшими лохматыми с проседью бровями и изрезанным морщинами лицом, словно выдубленным солнцем, ветром и соленой водой, — одной рукой держал мальчика за шиворот, другой больно стегал просмоленной веревкой, которая так и впивалась в тело, и потом швырнул его на дно лодки. Андрейка поднялся, всхлипывая, свесился через борт и стал перебирать показавшиеся из воды мокрые сети.

Кругом ослепительно сверкала вода, по которой едва приметно шли стекловидные морщины. Горячее, заставлявшее щуриться солнце стояло высоко. Черные, начинавшие течь смолой бока лодки, протянутые к мачте, переkreщающиеся веревки, с которых также капала смола, обвисшие, черные от грязи и смолы паруса резко, отчетливо вырисовывались своей чернотой в неподвижно знойном воздухе.

Берегов не было видно.

Андрейка, с сердитым, сморщившимся в кулачок лицом, продолжал перебирать сеть, осторожно и крепко захватывая каждую бившуюся в ней рыбу.

Еще в два часа ночи, когда только чуть-чуть стали бледнеть звезды, Андрейка отчалил с дедом от берега. Легкий предутренний ветерок тихонько подвигал лодку. Когда рассвело и по воде и по небу побежали розовые полосы, а спокойное, гладкое море открылось до самых

краев, ветер упал. Пришлось взяться за весла. Андрейка греб попеременно с дедом. Сначала работа у него шла легко и свободно, но прошел час, другой, и он стал уставать. Каждый раз, как он откидывался назад и весла с плеском проходили в прозрачной, игравшей розовым отблеском воде, ему казалось, что он уже больше не в состоянии разогнуться, до того ныла поясница и ломило руки; но он снова и снова закидывал весла, и лодка ползла, как черепаха. Наконец дед, все время молча сидевший на корме, проговорил:

— Будя, Андрейка!

Обрадованный Андрейка торопливо пробрался по качавшейся лодке на корму, а дед сел за весла и стал молча и упорно грести. Андрейка правил рулем, глядел на разбежавшиеся из-под весел длинные водяные жгуты, на мерно и сильно откидывавшуюся фигуру деда и отирал свое мокрое, вспотевшее лицо, с наслаждением предаваясь отдыху.

Из-за моря поднялось солнце и залило светом спокойную, ровную воду. Начинался знойный день без малейшего ветерка.

Скоро показались на поверхности моря большие плававшие круглые обрубки с укрепленными на них маленькими флажками — это были поплавки сетей. Подъехали к одному из таких поплавков, за веревку, привязанную к нему, вытащили один конец сети и, навалившись на борт, стали подвигать лодку, перебирая руками показывавшуюся над водой сеть, которая тянулась в воде на несколько сот сажений. Андрейке, совсем перевесившемуся через борт, весело было смотреть в прозрачную глубину, где от времени до времени вдруг начинало что-то белеть, колебля и вода из стороны в сторону все выше и выше подымавшуюся сеть, и, наконец, на поверхности, трепеща и разбрызгивая воду, показалась бившаяся, запутавшаяся жабрами в ячейке рыба. Андрейка подхватывал ее, запуская пальцы в нежные розовые жабры, высвобождая из сети и бросал на дно лодки, где было налито немного воды. Рыба, обезумевшая от боли, страха и отчаяния, начинала биться, разбрызгивая воду, не понимая, что это с ней произошло, и пытаясь вырваться из этой тесной, ужасной обстановки, где она задыхалась, вздымая окровавленные, разорванные жабры.

Солнце подымалось все выше и выше, и зной, неподвижный, слепящий, стоял над морем, в истоме раскинувшимся под горячим небом. Андрейка, разморенный жарой, от скуки и однообразия разговаривал с рыбами, которых он вытаскивал из сети:

— Ах ты, селедка-длиннохвостка, погоди, ужо просолеешь хорошенько, не будешь брыкаться! Ишь ты, брыкучая, ступай-ка в лодку! А ты, сазан-брюхан, пузо-то наел. Вылазь, вылазь, неча кобениться, отъелся, не пролезешь никак, хитрый идол! Выла-азь... — И Андрейка вытащил и с трудом поднял вверх обеими руками большую рыбу.

— Гли, деду, пузо-то како!

Но не успел дед раскрыть рта, как сазан, очутившийся на воздухе и замерший от изумления, вдруг рванулся изо всех сил, выскользнул, плюхнулся в воду, блеснул хвостом — и был таков.

Тогда-то над морем и раздались отчаянные вопли Андрейки, потому что дед молча, не говоря ни слова, поднялся, взял просмоленную веревку, сложил ее несколько раз и жестоко наказал мальчика.

II

У Андрейки нет ни отца, ни матери. Сколько он помнит себя, он живет в белой хатке, под большой вербой, с дедом Агафоном. Возле хаты с одной стороны белеет береговой песок и синее море, с другой, насколько глаз хватает, тянется безлесная, голая, сожженная, покрытая высохшим бурьяном да полынью степь, размытая оврагами и балками.

Лет двенадцать тому назад дед Агафон жил в этой хате с семьей, с женой и пятью детьми. Случилась эпидемия дифтерита, и дети Агафона перемерли в одну неделю.

Раз как-то зимою Агафон с женой сидел вдвоем в хате. Ночная вьюга мела в черные окна. Агафон угрюмо думал о чем-то, починая сети, жена возилась у печки. Снаружи кто-то постучал. Агафон отпер дверь, и на пороге появилась женщина, в рубище, занесенная снегом, дрожащая, с мертвенно бледным, стянутым от холода лицом; на руках у нее в лохмотьях лежал крохотный ребенок, весь посинелый и уже не плакавший. Заикаясь, не выговаривая

стянувшимися губами, женщина стала просить пустить ее переночевать. Ее приютили, накормили. Отогревшийся ребенок наполнил хату детским плачем, и жена Агафона, стоя над ним, то и дело вытирала слезы фартуком, вспоминая своих детей.

Женщина рассказала, что идет из Орловской губернии на Кубань разыскивать мужа, который уехал туда с полгода и ничего не пишет. Она все проела, что было, и, наконец, решила отправиться на розыски. Дорогой пришлось питаться подаяннем, по железной дороге удавалось на некоторых станциях упросить кондукторов, и они провозили ее несколько станций бесплатно, а по проселочным дорогам подвозили добрые люди. Так добралась она до Ейска. Из него она вышла рано утром, заблудилась в степи, настала ночь, поднялась вьюга; женщина уже приготовилась к смерти, как среди ночи увидела огонек одинокой хаты.

Ночью пришедшая расхворалась, бредила, металась, вскрикивала. Жена Агафона три раза взбрызнула и напоила ее святой водой, но той делалось хуже и хуже, и к вечеру следующего дня она умерла. Агафон и его жена оставили ребенка у себя приемышем.

Андрейка смутно помнит ласковую старую женщину, приемную мать, которая купала, поила, кормила его и качивала посреди хаты на подвешенной к потолку люльке. Он помнит также, что, когда ему сравнялось четыре года, пришли какие-то люди, сняли ее с лавки, где она спала, положили на стол под образа, зажгли свечи, а потом унесли куда-то, и он остался вдвоем с дедом Агафоном. Помнит он, что дед каждый раз, как отправлялся на море, отводил его в поселок, который лежал в овраге, в степи, верстах в трех от берега, и оставлял у своей кумы, бабки Спиридонихи. С шести лет дед стал брать мальчика с собой на море, и Андрейка часто спал на носу лодки, на подостланной дедом соломе, а над ним носились чайки, светило солнце и летели брызги волн.

Семи лет Андрейка уже во всем помогал деду. Вставали они рано — часа в три утра. Андрейка торопливо плескал себе в лицо холодной водой, вытирался подолом рубахи, торопливо крестился на ту часть неба, где горела утренняя звезда, и, перевирая, читал «Отче наш» и «Свят, свят» — две молитвы, которые он только и знал. Потом

Андрейка притаскивал кизяку, растапливал печь, чистил картошку, рыбу, варил уху. Позавтракав, они уходили в море.

И на море и дома дед заставлял Андрейку делать все наравне с собою: править парусами, грести, чинить, собирать, тянуть, спускать сети, обирать рыбу с крючьев и прочее. И Андрейка все делал, надрываясь от непосильной работы. За малейший промах, недосмотр, ошибку дед жестоко наказывал Андрейку. Стоило мальчику на море неверно положить руля или не во-время подобрать или отдать парус, как дед подымался и тут же, не говоря ни слова, беспощадно сек мальчика просмоленной веревкой, от которой никогда не заживали рубцы. У Андрейки было худенькое загорелое личико, и сам он весь был маленький и худенький.

Жизнь у него проходила однообразно: кругом было только море, небо, степь да берег. Берег был голый, обнаженный, с глинистыми размытыми устьями оврагов, с песчаными косами и отмелями. Но все это однообразное пустынное пространство для Андрейки было населено и оживлено.

По степи, посвистывая, бегали или, как столбики, стояли у своих нор суслики; в воздухе, мелькая по иссохшей траве тенью, медлительно плавали коршуны, ястреба, луни, трепетали, неподвижно повиснув, копчики; по курганам угрюмо и одиноко чернели степные орлы. Над песчаным берегом носились крикливые белые чайки, подбирая выброшенную из сетей рыбу, иногда чуть не выхватывая ее из рук рыбаков; весною и осенью тут стоял несмолкаемый гам и шум от бесчисленной пролетной птицы.

Но более всего и разнообразнее всего было населено море. Тут стадами ходили стерляди, осетры, сельди, тарань, сазаны, красноперка, вьюны; в песке кишели мириады водяных вшей, ползали крабы. В конце июля море начинало «цвести» и по ночам светиться. Светились голубоватым светом гребешки волн, следы от лодки, разбегающиеся круги от удара весел, линия прибоя у берега, брызги, каждая капля морской воды, выведенная из состояния покоя. Этот странный колеблющийся, то вспыхивающий, то угасающий голубоватый свет казался Андрейке таинственно связанным со всеми покойниками и утопленниками, которые нашли могилу в море.

Дед Агафон был молчалив и угрюм, но когда речь заходила об обитателях моря, морщины у него разглаживались, серые глаза добродушно смотрели из-под нависших бровей, и он готов был рассказывать по целым суткам.

— Дедко, откуда рыбы столько берется? Ловят, ловят, ловят, а она все идет. Сколько народу рыбалит, на море негде веслом опустить — все сети.

— Бог плодит, бог ее плодит, разве у бога мало места — сколько он воды сотворил, чтобы, значит, рыба водилась, — для пропитания людей.

— А рыба знает, что ее ловят?

— Ну, а то не знает, что ль... Рыба, к примеру, вот как мы с тобой рассказываем, как встрелась друг с дружкой, сейчас так и так, мол, все и обскажет насчет рыбалков: где сети поставлены, где крючья; ну, только, конечно, по-своему разговаривают, — человеку не дано знать... Только одни, которые утопленники в море на дне лежат, понимают, как рыба разговаривает, потому рыба их не остерегается — знает, что они уж не выдадут, — плавает возле и друг дружке рассказывает.

Андрейка несколько минут молча смотрит на деда расширенными глазами. Ему представляется темная, синяя глубина, смутно желтеющее морское дно и на нем раздувшийся, посинелый, с открытыми в воде глазами мертвец, возле плавают рыбы и, колебля жабрами и глотая соленую воду, рассказывают друг другу, что, где и как происходит. Рассказывают они и про него, про Андрейку, что он с дедом Агафоном сидит в лодке там, наверху, и опускает в воду сети.

Андрейке становится немного жутко. Когда прежде он сидел в лодке, внешний мир замыкался для него водной поверхностью моря, и о том, что было *там*, в глубине, он не думал. *Там* была просто вода, и *оттуда* сети вытаскивали рыбу. Теперь же эта огромная пугающая глубина оказывалась вся заселенной не теми молчаливо-беспомощно бившимися в лодке рыбами, которых он выбирал из поднимавшихся из воды сетей, а разумными существами, которые так же разговаривали и ограждали себя от бед и несчастий, как и люди здесь, наверху. Сверху над водой светило солнце, проходили облака, играл ветер, а в глубине шла таинственная и неведомая жизнь, враждебная Андрейке и деду Агафону, и от этого становилось жутко.

— Господь все премудро сотворил, — продолжает дед Агафон. — Скажем, сазан — рыба бессловесная, и все. А вот ежели станут волокуши тянуть к берегу, всю рыбу, какую захватят, всю на берег выволокут, — а вот сазана захватят, так он весь почти назад в море уйдет. Как почувет, что кругом сети, перво-наперво разбежится и что есть духу рылом в сеть вдарится, аж веревки затрясутся; ежели волокуша старая — прорвет, сам уйдет и всю рыбу за собой уведет; ежели видит, что не прорвать — зачнет сигать из воды, чтобы пересигнуть через сеть. Сеть к берегу высоко поднимают над водой — тогда видит — плохо дело, вот сейчас выволокут, — он воткнет нос в ил и песок против волокуши и что есть силы держится; волокуша снизу хоть и чижилая — камни понизу понавязаны, — все-таки по его гладкой спине так и переедет, иной раз всю спину ему стешет, ну, а он плеснет хвостом — и был таков.

— Он, значит, сазан-то, умный?

— Как же! Господь видит, люди неисчислимо истребляют рыбу, сколько ее ловят, страсть! Видит, что скоро вся рыба пропадет, он и дал разумение. Человек хитрый, ну рыба еще хитрей.

Дед воодушевляется и, подняв еще выше брови, говорит:

— Ходит рыба в море, все закоулочки выходит — пропитания ищет. Но тут ей какая пастьба? Так, где червяка ухватит, али своим братом закусит; а в реках ей всякой еды сколько душе угодно: там и ил речной. В реку всякую падаль и нечисть валят. Глисты разные водятся. Из лесу подмывают корни, ветки — одно слово, всякое произрастание. Вот рыба в прежние времена и ходила в реки, особливо в Дон, кормиться, и шла она, прямо сказать, тучей. Когда размножение народу пошло, стали реки перегораживать сетями. И тут ее вылавливали тьмы. И пошел промеж рыбы в море разговор, что, дескать, так и так, нельзя в реки ходить — вылавливают. Распространился по всему морю разговор, и перестала рыба ходить в Дон на пастьбу. Вышел закон повеление, чтобы по всея Расеи во всех реках раз в неделю никто не ловил рыбы, чтоб передышку ей дать: с шести часов вечера субботы до шести часов утра понедельника никто не имеет никакого полного права рыбу ловить. И что же! Всея неделю в Дону ни одной морской рыбины нету — знает, ловят ее

там пять дней. А в субботу вечером гужом гудит из моря в Дон, а в ночь на понедельник ворочается, но не успевает вся, — которая запаздывает и идет в понедельник цельный день к морю. Рыбаки, которые в устье ловят, знают, что за всю неделю в реке и одной рыбины морской не увидишь, зато в понедельник все, сколько их есть, все выезжают, и тут ее, рыбы этой, страсть набивается в сети, — это которая запоздалая. Вот оно как... Человек с хитростью, а рыба вдвое...

Но обыкновенно дед свои рассказы заканчивал так:

— Только, ежели уж правду говорить, пропадает рыба, год от году пропадает... Потому сила, сила этих рыбаков развелось — куда глазами достанешь, всё сети...

И лохматые брови деда опять низко спускаются, и он снова становится угрюмым, сосредоточенным и необщительным.

Дед и Андрейка работали не покладая рук, не зная ни праздников, ни правильного отдыха, и все, что зарабатывали, дед пропивал.

Как только ворочались они с уловом, дед сбывал рыбу перекупщикам, строго-настрого приказывал Андрейке сидеть дома, чинить сети, конопатить или смолить лодку, стачивать и навязывать крючья, зашивать паруса, а сам уходил в большое торговое село и гулял там до тех пор, пока не пропивал все до последней копейки и с себя все до последней нитки.

Андрейка, как только дед скрывался за бугром, бросал сети, крючья, недошитые паруса и убегал в поселок, лежавший в степи, верстах в трех от берега, лазал по огородам, таскал огурцы, ловил воробьев, дрался с хуторскими мальчишками на кулачках и постоянно навещал бабушку Спиридониху. Она кормила его пирогами с морковью, маковниками, рассказывала про леших, ведьм, водяных, сказки про заморские страны, про города, которые лежали по той стороне моря.

— Дома там большущие да высокие, — говорит бабушка, глядя шершавой от работы рукой голову Андрейки, который примостился возле ее ног, уминает пирог с морковью и не спускает с нее глаз, — а живут в них все господа бо-огатые, одеваются чисто и цельный год ничего не делают.

— И рыбу не ловят?

— Куды — рыбу! Хату подместь, и то гнушаются.

— Я, бауныка, с дедом на той стороне у Таганроге был: дома высоко-окие, а на церквах кресты все из золота, а на пристани бабы господские прогуливаются, голова вся в перьях... Бауныка, а я на аглицком пароходе видал, господа ехали, в трубки на нас с дедом смотрели.

Андрейка некоторое время ест молча.

— Бауныка, откуда вши водяные берутся? Вот идешь по берегу, продавишь ногой песок, они так из песку и полезут.

— Из воды, соколик, из воды эта нечисть. На, возьми пирожка еще, кушай на здоровье, сиротинка.

— Бауныка, дед рассказывает, матка моя замерзла возле нашей хаты.

— Померла, соколик, померла, болезный, замлела от морозу: стыть какая была да метель, шутка ли — зги не видать было. Царство небесное покойной Акулине Митревне, вечный покой ее душеньке, — призрела тебя, малую сиротку, и деду Агафону доброе здоровье на многие годы...

— Дерется дед, бауныка, уж так-то больно бьет: Я, бауныка, ежели будет бить, так убегу от него.

— Тебе же на пользу, дурачок, — побьет да пожалует, тебе же в пользу, учит добру, а ты слухайся да не перечь.

Бабка Спиридониха была единственный человек, у которого Андрейка чувствовал себя тепло.

Ворочался всегда дед оборванный, угрюмый и злой, находил брошенные сети и паруса, и начиналась жестокая экзекуция, от которой Андрейка с неделю еле ворочался.

III

Солнце невыносимо печет. Зной, разлитый в переполненном блеском воздухе, неподвижно стоит над морем, в котором на недосыгаемой глубине синее опрокинутое небо. Черная лодка со стекающей смолой и обвисшими парусами кажется висящей в пространстве, а под нею вниз мачтами висит точно такая же опрокинутая лодка.

Андрейка, не разгибаясь, вместе с дедом выбирает из тянущейся вдоль лодки сети добычу, которой набилось

туда множество. Лицо у него пылает, рот полуоткрыт, крупные капли пота падают в воду. В значительно осевшей лодке возвышается целая гора зевающей, шевелящейся рыбы.

После экзекуции у Андрейки, чувствовавшего, как горят и ноют рубцы на спине, в голове толпились самые мрачные мысли. Сначала он все свое раздражение направил на сазана, который так коварно подвел его.

«Хорошо, — со злобой думал он, — брюхатый чорт, попадешься еще, небось не вывернешься: запущу по кулаку в жабры, поверти-кось тогда. Ну и потешусь же!..»

Но так как коварный сазан благоразумно решил не попадаться в руки Андрейки, то мысли его принимали другое направление.

«Что я *ему*, сын, что ли, али крепостной, что *он* лупит меня чем ни попадя? Ишь, огрел, ажно рубаху просек. Возьму да убегу... Ей-богу!.. Пойду в город, наймусь в работники али на берегу в артель стану, тоню тянуть, нехай-ка он без меня повертится. Да даром-то я не уйду: проверну дырю в лодке да заткну маленечко тряпкой, а сам в степь — ляжу на кургане и буду смотреть. Вот отъедет он, вода и вымоет тряпку, и станет он потопать. Станет потопать и закричит: «Андрейка, потопаю!..» А я ему закричу: «Ага!.. а помнишь, как ты меня лупил, ажно рубаху наскрозь просек...»

Жара, усталость мало-помалу смиряют Андрейку, и негодование у него на деда улегается. А дед, и не подозревая андрейкиных каверз, преспокойно посасывая трубку, выбирает рыбу на корме. Он работает по всем правилам, сосредоточенно. Старик не любит разговоров. Он доволен сегодняшним уловом, и его нависшие лохматые брови приподнялись несколько. К вечеру он надеялся осмотреть все сети и ночью вернуться домой.

Вдруг Андрейка услышал голос:

— Андрейка, спускай сеть да ставь парус!

Андрейка уставился на старика: что с ним случилось? Осталось еще половину сетей досмотреть — видно, прошел косяк и рыбы набилось множество, да никогда они раньше ночи и не возвращались домой... Но старик не любил повторять приказаний, и Андрейка, торопливо опустив в воду сеть с бившейся в ней рыбой, быстро стал расправлять и готовить запутавшиеся шкоты и парус.

— Подверни снизу парус да спусти до половины!

Андрейка торопливо выполнил приказание, не смея расспрашивать деда. Парус обыкновенно подворачивали снизу и приспускали только во время сильной бури, чтоб уменьшить площадь парусности, когда ветер чересчур уже рвал. Между тем кругом стоял все тот же неподвижный зной — нечем было дышать, и все так же на недосыгаемой высоте и в бездонной глубине, друг против друга, синели тонкой синевой два небесных свода, и вода между ними пропадала из глаз.

— Садись на весла!

Андрейка беспрекословно взялся за весла и стал грести, обливаясь потом.

Вверху, не особенно высоко, над морем несло белое, ослепительно блестящее облачко с разорванными краями, точно это уносило оторвавшийся где-то кусочек ваты. И это быстро несущееся облачко резко нарушало впечатление знойной неподвижности и покоя, царивших на море. А дед все поглядывал то на облачко, то на горизонт, в синеве которого терялись и вода и небо: оттуда, теснясь, густо лезли круглые барашки. Они торопливо выбирались с особенной и необъяснимой при полном затишье поспешностью.

Андрейка, измученный, задыхающийся от тяжелого зноя и напряжения, стал испытывать глухое беспокойство. По небу, за минуту до того безмятежно чистому, бежали одно за другим облака, блестящие с одной и зловеще затененные с другой стороны. Дед, все подгонявший Андрейку, сам сел на весла, и тяжело нагруженная лодка пошла скорее по тому направлению, где должен был открыться берег.

В той стороне, откуда выбирались облака, по спокойному морю вдруг побежала потемневшая узкая полоса бесчисленных морщинок, все удлиняясь и быстро нагоняя лодку. В ту же минуту забежал ветер, шевельнул парус, вздул на спине Андрейки рубаху и понесся дальше вместе с мелкой рябью, темнившей светлое лицо моря.

Опять тишина, неподвижный зной, зеркальный блеск моря и бессильно повисший парус.

Дед, угрюмый и насупленный, поднялся, аккуратно сложил весла, достал из-под сиденья кафтан, надел, подпоясался потуже, уселся на корме, пропустил шкот в кольцо возле себя и взялся за руль.

Море все покрылось темными пятнами ряби, перемежающимися со светлой поверхностью, по которой с неуловимой быстротой бежали тени облаков... И вдруг оно почернело на необозримом пространстве, от края до края.

Ветер, свистя в ушах и обдавая прохладой, мгновенно наполнил парус, и лодка, подымая перед собой водяной бугор, с шумом понеслась, едва не поспевая за скользжившими тенями облаков. Позади полосой пены потянулся длинный след.

Ветер, превращавшийся почти в ураган, не мог сразу раскатать за минуту до того спокойное море, и, несмотря на все усилия, оно только все больше и больше чернело. Но дед знал коварство этих внезапных летних бурь. Они разыгрывались где-нибудь далеко и потом, налетая оттуда, пригоняли с собой уже поднятые, готовые, расходящиеся волны, которые начинали бить и неистовствовать на совершенно тихой и спокойной до того поверхности. Поэтому он, с риском опрокинуть лодку, полностью отдавал парус ветру, и они неслись с безумной быстротой, от которой рябило в глазах, и пенящаяся вода проносилась назад, как мимо железнодорожного поезда. Открывшийся впереди тонкой чертой берег выступал все яснее, яснее.

Волны действительно пришли. Они шли, как грозная рать, с белыми колеблющимися головами, зелеными рядами вздымающейся воды, и кругом настал ад.

Лодка зарывалась носом. Волны — огромные, с острыми подавшимися вперед гребнями и срывающейся по ветру пеной — шли на нее с шипением, с шумом, без перерыва, без отдыха. Кипящие зеленоватые гребни то и дело обрушивались через борт. Шкоты натянулись, как нитки, а парус, оттягивая мачту, дрожал от страшного напряжения, купаясь в обдававших его брызгах. До самого неба, по которому торопливо и низко бежали серые всклокоченные, как грязная вата, тучи, стоял все заполняющий шум, из-за которого нельзя было различить ни скрипа подававшейся во всех пазах лодки, ни звука человеческого голоса.

Андрейка, уцепившийся за мачту, видел, как у деда шевелились губы, но голоса его не слышал. Прижимаясь к дрожащей мачте, Андрейка глядел на бунтовавшие, с кипящими верхушками волны, которые без числа и без конца шли на их одинокую, брошенную лодку. Она то

совсем ложилась на бок, моча бившийся краем в воде парус, то выпрямлялась и взлетала на самый гребень. И тогда Андрейке в нескольких верстах открывался белый от прибойя берег, старая верба и белевшая на берегу хатка.

Андрейка не чувствовал особенного страха, он привык к бурям, и только внутреннее напряжение наполняло все его существо. Он так привык подчиняться и слепо верить на море деду, что не думал об опасности, хотя хлеставшие через борт волны все больше заполняли лодку и она все тяжелее взбиралась наверх. Андрейка стал черпать и выливать за борт черпаком воду, но это мало помогало.

Старик сидел на корме, едва видимый в облаке водяной пыли и проносимой ветром пены, правя рулем, отдавая парус каждый раз, как налетавший шторм клал лодку на бок. Суровое, изрезанное морщинами, мокрое от брызг лицо старика было хмуро, сосредоточенно. Он сделал знак, а Андрейка, бросаемый из стороны в сторону качкой, на четвереньках, болтаясь в воде, перебираясь через кучи рыбы, полез на корму. Когда он добрался до кормы, старик нагнулся к его уху и крикнул:

— Кидай рыбу за борт!

Андрейка расширенными глазами глядел на старика, но старик ткнул его кулаком. Мальчик дрожащими руками стал выбрасывать еще живую, трепетавшую рыбу вон из лодки. Только теперь он понял всю грозившую им опасность, и детское отчаяние охватило его. Держась одной рукой за перекладину, он другой торопливо выбрасывал рыбу и горько плакал и причитал сквозь слезы:

— Ы-ы-ы... миленькие, потопаем!.. ы-ы-ы... потопаем... подайте помощи, пото-опаем!..

Но ветер сердито уносил его жалобу, и волны, разбиваясь о борт лодки, высоко вздымались белым столбом брызг.

Андрейка повыбрасывал всю рыбу... Лодка пошла легче... Берег все приближался... Уже можно было различить размытые глинистые обрывы, желтевший прибрежный песок и черневшие на берегу остовы старых лодок... Андрейка, продолжая вычерпывать воду, стал молиться. Он молился тому старику с седой бородой, что был изображен на потемневшей иконе в углу церкви, перед которой дед всегда ставил свечи. И Андрейка всё ждал, что вот-вот их лодка станет легче и волны перестанут плескаться

через борт пенистые вершушки. Но попрежнему с шумом шли водяные горы, летела пена и низко неслись грязные тучи.

Шумя в оснастке и срывая гребни волн, набежал порыв бури, погнул парус, лодка бессильно легла на бок, и в нее всем бортом хлынула огромная волна.

Андрейка, с ног до головы окаченный волной, схватился обеими руками за мачту, захлебываясь от ворвавшейся в рот соленой воды. Старик, с проступившей по загорелому, обветренному лицу землистой бледностью и с прыгавшей нижней челюстью, судорожно навалился грудью на поднявшийся борт. Лодка выпрямилась, но в ней до половины оказалось воды, и она с трудом теперь выбиралась на гребни набегавших волн, которые яростнее и чаще стали ее захлестывать. Андрейка каждую минуту ждал, что они пойдут ко дну. Неодолимый страх охватил его. Он на четвереньках, весь в воде, полез к деду:

— Де-еду, боюсь!..

Дед, все с таким же мокрым бледным лицом и прыгавшей челюстью, втащил Андрейку на свое место, сунул ему руль и конец шкота:

— На вербу... на вербу держи!

Старик крикнул это что было голосу, но Андрейка из-за шума не разобрал его слов. Он только видел, как дед сбросил шапку и сапоги, торопливо перекрестился, вытянул руки, ринулся за борт, и облегченная лодка, с переполненным ветром парусом, пошла быстрее.

Кругом, как снег в степи в буран, белела несшаяся поверх моря пена, навстречу бежал берег, и все предметы на нем быстро увеличивались, выступая все отчетливее: размытые глинистые овраги, черневшие на песке лодки, белая хата и старая верба возле нее.

Андрейка был весь охвачен восторгом от сознания, что он спасен.

Зажав подмышкой руль, накрутив на руку туго тянувший шкот, он оглянулся: далеко-далеко, среди волн и пены мелькнула черневшая голова. Она то совсем скрывалась из глаз, то снова показывалась, подымаясь и опускаясь вместе с волнами. У Андрейки с представлением о дэде соединялось представление о суровой, ни перед чем не поддающейся силе, и теперь вид этой беспомощно подымавшейся и опускавшейся вместе с волнами головы пофа-

зил его. Андрейка закричал пронзительным детским голосом:

— Де-едко!.. де-едко!.. де-едко!..

Глотая неудержимо катившиеся из глаз слезы и соленые бившие в лицо брызги, он изо всех сил навалился на руль. Лодка дрогнула, накренилась, с разбега круто повернулась, описав круг, и, как бы призадумавшись, стала против ветра. Парус ослабел и стал отчаянно болтаться и полоскаться. Андрейка, все так же неудержимо рыдая, положил руль совсем на борт: лодка повернулась еще больше, ветер мгновенно наполнил с другой стороны туго выпятившийся парус, лодка рванулась и, все больше и больше черпая бортами и с каждой секундой оседая, понеслась от берега назад в море — туда, откуда, толпясь, шумя и разбиваясь, грозно шли волны и где беспомощно виднелась, то скрываясь, то опять показываясь, голова...

— Де-едко!.. де-едко!.. де-едко!..

[1903]

З А Я Ц

I

Антип Каклюгин, служивший у подрядчика Пудовова по вывозу нечистот, получил из деревни письмо.

После бесчисленных поклонов братцев, сестриц, племянников, дядей, кумовьев, соседей в конце стояло:

«...И еще кланяется с любовью и низкий поклон к земле припадает супруга ваша Василиса Ивановна и с самого Петрова дня лежит и соборовалась чего и вам желает и очень просит чтоб приехали на побывку как ей помереть в скорости писал Иван Кокин».

Антип попросил три раза прочитать письмо и долго чесал поясницу.

— Да... ишь ты, како дело, — проговорил он, тщательно и неумело складывая негнувшимися пальцами письмо, и вечером пошел к хозяину.

— Ты чего?

— К вашей милости.

— Да и воняешь ты, чорт тебя не возьми... Ступай во двор.

Антип покорно слез с крыльца и стал возле, держа шапку в руках.

— Денег не дам, и не проси... Забрал все — когда еще отработаешь...

— Да я не об том... жена умирает. Милость ваша ежели будет, повидать бы бабу, хоша бы на недельку.

— Ах ты, сукин предмет!.. Да ты что же, смеешься?.. Самая возка начинается...

— Главное, умирает... плачется баба...

— Что ж, она без тебя не сумеет помереть, что ль?..

Да, может, и враки, так занедужилась, подымется, бог даст.

— Соборовали... Сделай милость.

Хозяин посмотрел на вызвездившее небо, подумал.

— Ну, вот что. Завтра у нас какой день? Вторник? Хорошо. Стало быть, завтра выедешь — к обеду дома; на другой день опять сядешь — к вечеру тут. Стало быть, в среду чтоб был к работе. Не будешь — другого поставлю. У меня контракт, ждать не стану. Из-за вас, анафемов, неустойку плати.

— Покорно благодарим.

II

Ранним утром, когда над рекой стоял белый пар и холодная вода влажно лизала столбы, Антип сидел на пристани.

У берега теснились баржи, расшивы, лодки; по воде, оставляя след, бегали катера, пыхтели пароходы. Грузчики, согнувшись и торопливо и напряженно переставляя ноги, таскали одни с берега, другие на берег — тюки, кипы, бочонки, ящики, полосы железа. Над рекой и берегом стоял говор, стук и по гладкой, чуть шевелящейся воде в раннем, еще не успевшем разогреться утре добежал до другого, плоско желтевшего песчаного берега.

Антип макал в жестяную кружку с водицей сухари и хрустел на зубах. Латаный, рваный, с вылезавшей в дыры грязной шерстью полушубок держался на нем коробом, как накрахмаленный, и было в нем что-то наивное.

— Фу-у, чорт, да что такое?.. — проговорил матрос, останавливаясь во второй раз. — Ведь это от тебя... Ступай ты отсюда, тут господа ходят...

— Ну, что ж...

Антип поднялся и, держа грязную сумку и кружку, перешел и сел на краю пристани, свесив ноги над весело и невинно колебавшейся внизу водой.

Пароход, шедший снизу и казавшийся маленьким и пузатым, закричал толстым голосом, и торопливо бегущая над ним белая полоска пара колебалась и таяла в свежем воздухе. С песчаного берега добежал точно такой

же пароходный голос, и странно было, что берег был пустой и никого там не было.

Пароход, делаясь все пузатее и гоня стекловидный вал, работал колесами, и приближающийся шум разносился по всей реке. Колеса перестали работать, и пароход молча, тяжелый и громадный, надвигался по спокойной, чуть колеблющейся, отражающей его воде. Навалился к пристани, притянули канатами, положили сходни, вышли пассажиры.

Потом стали таскать багаж, товар, а черная труба оглушительно, с тяжелою дрожью, стала шипеть, напоминая, что в утробе парохода, не находя себе дела, бунтует клокочущий сдавленный пар.

Когда выгрузили, стали таскать тюки, ящики с берега на палубу. Антип незаметно с крючниками пробрался на пароход, высмотрел местечко и залег между кипами сложенной шерсти. Было душно, голова взмокла от пота, и ничего не было видно. Слышно только, как топали тяжелыми сапогами по палубе, как падали сбрасываемые в трюм тюки, как с гудением шипела труба, и от этого гудения по всему, что было на пароходе, бежало легкое дрожание.

Антип лежал и думал, что забыл попросить не запрягать кривого мерина, — хромать стал; припоминал, куда положил старую уздечку, и думал о том, что баба непременно дождетя и не умрет до него. И когда он думал о бабе, становилось особенно тесно и душно лежать, и он ворочался, и все боялся, что его откроют.

Покрывая топот ног, говор, нестерпимо оглушительное шипение трубы, зазвучал наверху чей-то гудящий голос. Он долго, настойчиво тянул — густой, грубый, упрямый, призывая кого-то, кто был далеко и не слышал или не хотел слышать, потом отрывисто и коротко оборвался, как будто сказал: «Ладно, погожу».

Опять топали ноги, слышались отдельные голоса, дрожа шипела труба, и было тесно и душно. Время между тюками тянулось медленно и трудно. Казалось, ему и конца не будет. Но пароходный пудок снова потянул настойчиво и упрямо и два раза отозвался: дескать, погожу еще.

«Упрел», — думал Антип, и ему пришло в голову, как бабы в печи ставят кашу в горшке вверх дном, чтобы лучше упревала.

Долго лежал.

Наконец в третий раз потянулся грубый и упрямый голос и трижды обрывисто оборвал: дескать, ждал, а теперь не прогневайся. Разом смолкло надоедливое шипение, и в наступившей тишине чудилось ожидание. Сильное мерное содрогание побежало по пароходу и уже не прекращалось. И хотя было попрежнему тесно, душно, темно — Антип с облегчением вздыхал, чувствуя, что пароход двинулся, и, изнемогая от духоты, дышал, раскрыв рот.

III

На пароходе было так, как бывает всегда. На корме и на верхней площадке — господа, на носу — серый, простой люд. Кто пил чай, кто закусывал и, отвернувшись, выпивал из горлышка; иные сидели и разговаривали, иные лежали на скамьях, на полу. Были богомольцы, были лапотники, торговцы, женщины с ребятами, мещане, люди неопределенной и подозрительной профессии.

Матрос шестом мерил глубину и лениво вскидывал на секунду вверх пальцы руки, нехотя взглядывая на капитанский мостик.

— Чудеса! — говорили те, что сидели возле кип с шерстью. — Дух от нее, от шерсти, чижолый.

— Чижолый дух, чисто дохлятина.

— Гм!.. — вертел носом матрос, проходя мимо, — несет... должно, с берега.

— С берега, откуда же больше? Всячину на берег-то вают.

Пошел контроль.

Публика подымалась, из карманов, из-за пазух доставала кошельки, кисеты и, порывшись, вытаскивала билеты. Матросы заглядывали под лавки, между мешками, ящиками, осматривали все уголки и, нюхая вонь, несущуюся от кип с шерстью, добрались до Антипа.

Подошел капитан. Собрались любопытные. Между кипами покорно глядел на публику весь покрытый заплатами зад и истоптанные, заскорузлые подошвы, — Антип неподвижно лежал ничком, уткнувшись в шерсть.

Кругом засмеялись.

— Вылезай, чорт зонючий!.. Ишь ты, забрался... младенец!..

Матрос завернул ему на спину полушубок и сунул ногой, и Антип ткнулся в шерсть, потом выполз задом и поднялся. Лицо было красно и потно, взмокшие волосы обвисли.

— Билет?..

— Ась?

— Ну-ну, не притворяйся!.. Я тебе притворюсь... Билет, тебе говорят...

— Билет-от?.. — недоумело, ухмыляясь, оглядел он всех. — Билета нетути.

— Как же ты смел без билета?

— Без билета-то? Потерял, стало быть... — И он опять, ухмыляясь, недоумело оглядел всех, точно спрашивая, зачем заставляют врать, ведь и так ясно.

— Да ты что зубы-то скалишь?.. А... Без билета, да еще скалишь...

Красное от загара и водки лицо капитана стало багроветь. Побагровела шея, лоб, напряжились жилы. А Антип стоял перед ним, ухмыляясь губами, лицом, бровями, и назади насмешливо оттопыривался, как лубок, рваный полушубок.

Публика посмеивалась.

— Что с него!.. Шиш с маслом...

— С голого, как со святого...

— Молодчага!.. Чистенький: как родился. Одна кожа, да и та богова...

— Вот ты и потанцуй около него, — накось, выкуси...

— Ей-богу, молодчага!..

— А то они мало с нашего брата дерут... Нашим братом только и наживаются... Что господа! Ему каюту целую подай, да чтоб чисто, да хорошо, да убранство, — и денег-то его нехватит, так только, одна оказия, будто платят больше...

— И-и, бедному человеку, где ему денег набраться... Много ли ему места надо? — сердобольно говорила женщина, суя открытую грудь кричавшему ребенку.

— Хо-хо-хо... молодца!..

Антип ухмылялся.

— Куда едешь? — прохрипел капитан.

— В Лысогорье.

— Во-во-во... Как раз одна станция, — слез и пошел..

— Ха-ха-ха!..

— Я жж тебея!! — и большой, волосатый, весь в веснушках кулак с секунду прыгал у самого носа Антипа, точно капитан давал его понюхать.

Капитан пошел дальше. Не слышно было за шумом колес, что он говорил, но долго видна была багровая шея и широкий тупой затылок, злобно перетянутый шапкой.

IV

Антип то стоял на носу, то сидел, привалившись к кипам шерсти. Берега плыли в одну сторону, а смутно видневшиеся на горизонте церкви, деревни, мельницы бежали в другую. Люди ходили, сидели, лежали на палубе, а пароход шел да шел, независимо от желаний и цели этих людей. Казалось, он торопливо работал колесами не затем, чтобы развозить их по разным местам реки, а делал свое собственное дело, особенное, ему только нужное и важное.

С холодно синевшего неба равнодушно глядело негреющее сентябрьское солнце. Было скучно, и время так же тянулось, как однообразно тянулись берега.

— Подь сюда... Ей-богу, молодец!.. К примеру, ты высчитай, сколько они с нашего брата барыша лупят... Стань-ка под ветерок, очень уж ты духовитый... Их, чертей, учить надо!.. Хочешь водки?..

Бритый, весь в угрях, с рваным картузом на затылке, человек, сидя на палубе, распорядился закуской и засаленными картами.

Вокруг разостланной газеты с нарезанным на ней хлебом и закусками сидели два товарища. Один — мелкий торговец, с волосами в скобку. Другой, длинный и прямой, с вытянутым носом, вытянутым лицом и поднятыми углом бровями, сердито и строго глядя на кончик носа, жевал не дававшуюся, как резина, колбасу.

— Покорно благодарим, — говорил, утирая усы, Антип, чувствуя, как приятно и жгуче разливается по жилам водка, и прожевывая хлеб.

— Опять же сказать, взять с тебя нечего...

— Обыкновенно, нечего, весь тут.

— Ежели протокол составить, так и бумаги ты не стоишь.

— Это уж так.

— Ну, дадут раза по шее, и все.

— Чай, не перешибут.

— А то вот есть иностранное царство, — заговорил вдруг длинный тонким голосом, подняв глаза, и глаза у него оказались круглые и совсем не гармонировали с впечатлением длинноты, которое лежало на всей фигуре, на лице, — там возют всех даром, хоша на конке, али в вагоне, али на пароходе. Сейчас подошел — дескать, туда-то мне. «Пожалте», — и валяй. Вот как.

Он засмеялся, и опять разъехавшееся лицо, по которому побежали морщинки, нарушило впечатление вытянутости и длинноты.

Антип ухмылялся, чувствуя себя героем, поглядывая на капитанский мостик. Там стояли только два лоцмана и равнодушно и, казалось, без всякой надобности вертели штурвал.

— В карты можешь?

— В карты?.. Без денег как карты...

Антип отошел и опять привалился к кипам и слушал, как без отдыха шумели колеса, дышала черная труба и бежал назад песчаный берег.

Неохотно ехал он. Отвык от деревни, отвык от жены, от семьи, в городе у него была любовница. За пятнадцать лет был дома не больше двух-трех раз, недели на полторы, на две, и всякий раз с удовольствием опять уезжал в город. Казалось ему, что тесно, грязно, беспокойно живут мужики. И хотя у него самого была работа грязная и нечистая, он чувствовал себя независимее, был уверен в завтрашнем дне, и кругом было больше порядку, благообразия. Но половину своего заработка аккуратно отсылал семье. Он не спрашивал себя — зачем, а делал это из месяца в месяц, из года в год, потому что дома пахали, сеяли, держали кое-какую скотину.

К жене относился совершенно равнодушно, но было жалко, что она помирает, и надо было распорядиться по хозяйству.

Все те же звуки, то же движение, все то же мелькание берега и убегающей воды. Веки слипались. С трудом разбирался, где он и что с ним. И дальние деревни, бегущие

вперед, и влажные отмели, под блеском солнца убегающие назад, и угреватый с картузом на затылке, и длинный с длинным лицом, и женщина с плачущим ребенком, и груды товара на палубе — все путалось в движущейся, неясной, двоящейся картине.

Он не знал, сколько спал, а когда открыл глаза — было все то же: холодное солнце, светлая река, бегущий берег, убегающий вперед синий горизонт.

Антип встал, почесался, зевнул, покрестил рот и опять сел.

Далеко на отлогом берегу зачернелось что-то. Сначала нельзя было разобрать — что, потом с трудом обозначились люди, повозки, лошади, а у берега лодки. По дороге, видно было, кто-то спешил, подгоняли лошадей, а они торопливо бежали, и пыль, сухая и, должно быть, холодная, тяжело подымалась из-под колес.

Деревни Лысогорья не было видно — она верстах в семи за бугром, — но уже все было знакомо: поворот реки, луг, поросшие осокой озерца, рощица, пыльная дорога и одиноко белевшие на лугу гуси.

Антип вскинул на плечи мешок и прошел к борту, около которого уже суетились матросы. Столпились пассажиры с мешками, сумками, котомками, сундучками.

— Задний ход!..

С шумом вспенили воду колеса, пароход навалился, притянули канатами, перебросили сходни. Пассажиры, теснясь, протаскивая сундучки, сумки, устремились по сходням. Антип, тоже теснясь, двинулся со всеми, но матрос грубо оттолкнул его:

— Куда ты?.. Назад!..

Антип с удивлением остановился. Потом лицо его расплылось в благодушную, широчайшую улыбку:

— А мне здесь слезать.

Матрос снова оттолкнул его так, что он покачнулся.

— Да ты што!.. Мне, сказываю, слезать здесь...

— Назад, тебе говорят...

— Да ты што... ты што!.. — чувствуя, как злоба перекашивает лицо, говорил побелевшими губами Антип и рванулся по сходням.

Подскочил другой матрос. Здоровые, молодые, сильные, они подхватили, почти подняли Антипа на воздух и бросили на палубу. Он задом пробежал несколько

шагов, мотая руками и стараясь удержаться, но не удержался и повалился на спину, высоко вскинув ноги в рваных, истоптанных сапогах и показав заплатаанные порты.

Кругом захохотали.

Спеша, прозвучал пароходный гудок, выбрали сходни, канаты, заработали колеса, и пристань с лошадьми, с людьми, с повозками, с лодками у берега поплыла назад, и все стало маленьким, миниатюрным, потом смутно и неясно зачернело на отлогом берегу, потом потонуло и пропало за поворотом, и была только река, бегущие вместе с пароходом дальние деревни да убегающие назад берега.

И солнце равнодушно смотрело негреющими, холодными лучами.

V

Антип был ошеломлен и не мог притти в себя.

— Дозвольте... тоись как это... оно значит... мне, стало быть...

— Вот тебе и дозвольте... Хо-хо-хо... Не хочешь, а везут.

— Ха-ха-ха...

— А-а, братец мой, а ты как же думал, так это тебе и сойдет с рук?.. — говорил угреватый, еще больше сдвинув картуз на затылок. — Почему такое другие пассажиры должны платить, а ты задарма?.. Не-ет, милый, не резонт... Покатайся-ка... хе-хе-хе... В Лысогорье, говоришь?.. А то нам без тебя скучно...

— Вот от таких-то самых зайцев и воровство бывает, — спокойно наливая из жестяного чайника в стакан мутный чай, говорил торговец. — В вагоне ежели учуешь под лавкой зайца, зараз зови кондуктора, беспременно упрет что-нибудь. Один раз вез пару арбузов, закатил под лавку — цап!.. мягкое, патлы: ага — заяц!.. Пожалел, не заявил... Опосля захотелось арбузика, полез — одни шкорки. Вот они, зайцы.

— Честные господа... да как же так?..

То, что произошло с ним, было так чудовищно, так бессмысленно-огромно, что он каждую минуту ждал: они поймут весь ужас происшедшего, и, ожидая этого, он улыбался мучительной улыбкой, глядя на них, и руки у него тряслись.

Но они так же спокойно продолжали пить чай. Публика, поговорив и посмеявшись, опять расположилась по местам.

Бежала вода. Непрерывно шумели лопасти колес. Далеко тянулся пенистый след.

— Ах ты, божже мой!.. — бормотал Антип, хлопая себя по ляжкам, и обращался то к одному, то к другому из проходивших матросов: — Как же так?.. Господин!.. Сделай милость... Ведь мне в Лысогорье надо слезать...

Но те либо посылали к чорту, либо молча проходили, не отвечая.

Поворот за поворотом, отмель за отмелью уходили назад старые знакомые места, а навстречу бежали новые деревни, луга, перелески. Пароход бежал вперед, и город уходил назад, в смутную, неясную даль, — город, представление о котором сливалось с представлением неподвижных, спящих каменных громад.

Каждую ночь, зимою и летом, весною и осенью, в слякоть, дождь, грязь, мороз и в тихие лунные ночи Антип выезжал на бочке и трясся по мостовой, а сзади с таким же грохотом тянулась вереница таких же дугрюмых, неуклюжих бочек, и на них тряслись молчаливые возницы.

Они проезжали мимо темных и молчаливых церквей, мимо садов, скверов, бульваров, театров, проезжали молча среди грохота тяжелых колес, и по обеим сторонам стояли строгие дома, сонные, со слепыми, невидящими окнами, и так же молчали. И целую ночь качал Антип липкий насос, а под утро, когда серело небо, серели дома, мостовые, панели, телефонные столбы, — он тянулся в веренице грохочущих бочек по тем же безлюдным, молчаливым, крепко спавшим предутренним сном улицам. Он жил на окраине, грязной и заброшенной. И в короткие промежутки между сном в течение дня и ночной работой, когда приходилось ходить и убирать лошадей, он видел дневной свет и живых людей.

Но теперь, по мере того как пароход уходил все дальше и дальше, все это тонуло в туманной дымке, становилось чуждым и далеким.

Солнце стало склоняться, и от бегущих лесистых обрывов легли на воду бегущие вместе с ними тени. Потянул ветер, острым холодком пробираясь в дыры рваного полубубка, посерела и подернулась сердитой рябью река.

— Вот этот самый, — говорили, когда Антип тоскливо проходил мимо пассажиров, — захотел нашармака проехать, а теперь его и катают...

Антип останавливался около машинного люка и долго смотрел внутрь. Там все было необыкновенно. Длинные, в руку толщиной, стальные оглобли, блестящие и скользкие от масла, торопливо выскакивали и прятались. Коленчатый вал так же торопливо с размахом крутился, и, покачивая головками, независимо от размашистых, мелькающих движений остальных частей, чуть поблескивая, тихонько и задумчиво двигались взад и вперед тонкие длинные стержни.

Эта огромность и непрерывность работающей силы поглощала Антипа, и он подолгу стоял над люком. Белесодымчатый пар местами таял над торопливо работающими частями, и то там, то здесь со спокойными движениями появлялась рука, и масло тянулось желтоватой струей из длинной лейки в сочленения работающих частей.

Антип подымал голову и с тоской глядел на сердито бегущую навстречу реку, на начинавшее хмуриться холодное небо. Хотелось есть. Вытрусил из сумки крошки, перебрал на ладони, струсил кучкой, съел, потом долго, растягивая, запивал водой. И опять нечего делать, и опять все то же.

Стало вечереть, и небо совсем посерело, когда показалась пристань. Антип повеселел. Хитро ухмыляясь, скосив глаза, он отошел дальше от борта и притаился между ящиками.

Поднялась обычная суета. Выждав момент, Антип, как крадущийся кот, направился к сходням, но матросы снова грубо и злобно оттолкнули его. Он завопил не своим голосом:

— Кррра-у-улл!.. Убивают... Господин капитан!..

— Да ты что орешь?.. Поори, зараз свяжем...

Антип шумел, рвался, кидался к сходням. Раза два ему сунули снизу в подбородок, он лякнул зубами, и шапка съехала на глаза. Пароход пошел. Опять собралась публика.

— Это что такое?

— Да опять энтот, как его...

— Ну, скандалист... Орет, как резаный.

— В`трюм сам просится...

— Да больше ничего.

— Господа!.. честной народ!.. — говорил Антип, страдальчески подняв собранные брови. — Што такое?.. Как же так... братцы!.. А?..

— Дурак ты, дурак... Ты сообрази. К примеру, хозяин парохода... Эка радость ему тебя задаром возить... Ежели у него да набьется полон зайца... Тебе спусти — другой влезет, третий, четвертый, — оглянуться не успеешь, пассажирам садиться некуда, везде заяц... А ведь деньги идут: капитану плати, служающим плати, матросам плати, а угля сколько он жрет, страсть. Тебя провези, другого, третьего — да и полетишь в трубу.

— А как же, — воодушевляясь, заговорил торговец, — по нашему, по торговому делу, копеечка рубль бережет... Ты спусти раз приказчику, он те сразу дорожку найдет..

— Вонь от тебя стоит, — с сожалением, покачивая головой, проговорил тонким голосом длинный.

— Пошел ты, дьявол вонючий!.. Как из бочки. И зачем их таких на пароход пушают.

— Кто его пушал! Сам влез. — Картуз сердито высморкался, дернув сизый нос.

В холодной реке потухла красная заря. Пароход не переставая работал колесами, вползая в сырую мглу. И она становилась гуще, глуше, поглотила берега, реку, небо. Только электрические лампы и фонари на мачтах боролись с ней, холодной и темной, и, дробясь, ложились живой колеблющейся полосой мириады искр, играя по темной, невидимо шевелящейся воде.

VI

Антип размяк и ослаб. Без цели слонялся или подолгу стоял и все ухмылялся бессильной, униженной улыбкой, сам не замечая этого.

На кухне повар и поваренок в белых колпаках торопливо варили, жарили, резали красное мясо, разрубали крошившиеся под тяжелым ножом белые кости. Антип расширял ноздри, втягивая щекочущий воздух, потом отводил нос в сторону. Откуда-то доносилось:

— Ше-есть... шесть... четыре... четыре с половиной... ше-есть...

Неподвижно стояла ночь, и слепой холодный мрак мертво глядел со всех сторон. Казалось, среди моря тьмы пароход стоял на одном месте, и колеса бесцельно и зря работали, и не было видно ни брызг, ни пенящихся валов.

— Ах ты, божже мой!..

— Ванька, сундучок куда поставил?

Шумели колеса.

— Мм... э-э... это вы?.. Это вас?..

Перед Антипом стоял барин на тонких ногах. В глазу поблескивало стеклышко, и от стеклышка к жилету бежал шнурок, а тонкая и длинная шея сидела в белой высокой кадушечке, из которой выглядывала голова.

— Это над вами... мм... э-э... насилие?

Антип сгреб с головы шапку.

— Ваше благородие... господин!.. Вот как перед истинным... Двести верст отвезли... Мне в Лысогорье...

Господин подобрал верхнюю и оттопырил нижнюю губу, слегка прищурился свободный глаз и поблескивая стеклышком.

— Жалуйтесь... Жаловаться надо... Протокол... Полиции заявите... Так нельзя...

— Ну да, а то как же можно, человека прут неведомо куда, — слышался голос из кучки, до этого молча стоявшей, не зная, как отнесется барин.

— Ваше благородие... барин хороший!.. Сделайте божечку милость... Заставьте вечно богу молить... — с отчаянием заговорил Антип, делая поясной поклон. — Баба помирает... Обернуться не успею... Заставьте век бога молить...

Барин, все так же брезгливо-жалостливо подобрав и выпятив губу, осматривал сверху донизу Антипа.

— Жалуйтесь... мм... э-э... Я ничего не могу сделать... Жаловаться надо, — и он повернулся и пошел, выделяясь из всех, кто был на палубе, светлым пальто, желтыми башмаками и высоким белевшим воротничком, из которого выглядывала голова.

— Слышь ты, жаловаться надо, вот и барин говорит.

— Да, а то не буду, што ль!.. Ей-богу... вот приедем, подам заявление, зараз следствие производства, — говорил, нахлобучивая шапку, Антип. — Што я — каторжный, што ль? Не-ет, брат, не те времена!.. Теперича запрещено... крепостного права нету... Не-ет... брат!..

— Дурак ты, дурак... И куда ты пойдешь? Покуда пожалуешься, тебя верстов с тыщу провезут, жалуйся.

— С голоду сдохнешь.

Опять та же неподвижная ночь, неподвижный пароход, неподвижно и слепо глядящий мрак и без цели шумящие колеса. Ветер, острый и резкий, бежал вдоль палубы, и только потому и можно было догадаться, что шли полным ходом.

Пассажиры устраивались на ночь, кто как мог. Заворачивались с головой в одеяла, в мешки, скорчившись калачиком и втянув голову в плечи, лежали на скамьях, на тюках, на ящиках, на палубе или, сваявшись в ком по нескольку человек, неподвижно темнели, и оттуда торчали ноги, руки, головы.

Антип опять забрался в шерсть. С холодным ветром из кухни приносило тепло и запах. И чудилась изба, нагретая печка, баба возится с пирогами, ребятишки лазают по лавкам. Слышно, как работают колеса и бежит неустанное дрожание, и из-за него доносится лязг кос, шуршание падающей травы. Народ в косовице.

— Ше-есть... шесть... четыре с половиной... шесть... четыре...

Дядя Михей, высокий и жилистый, остановился, оперся о косу, отер пот с лица и лысины и закричал:

— Давай шесты с правого борта!..

Опять косогор, бродят телки, околица, осинник, березовая рощица, чуть тронутая холодным солнцем. Пахнет свежепеченым хлебом, квасом, за печкой шуршат тараканы.

«Э-эх!.. — думает Антип, — пятнадцать годов...»

И он теперь понимает, почему аккуратно каждый месяц посылал домой деньги. Тут родился, тут жил, тут и помирать. Как живая, стояла деревня, со всеми интересами, с бедностью, с лошадиным трудом, с вольным воздухом полей.

«Эх-эх!.. пятнадцать годов!..»

— Ванька, чорт!.. да куда ты сундучок запропастил? Над жнивьем носится чибис и жалобно кричит:

— Чьи-ви... чьи-ви...

— Пя-аать... пя-а-ать... четыре с половиной... пя-а-ать...

«Пятнадцать... — поправляет Антип и радостно думает: — Молотьба зачалась... зерно-то... зерно — золото!..»

И он с наслаждением запускает руку в островерхую живую кучу свеженамолоченного хлеба и вытаскивает полную пригоршню вонючей, густой, отвратительной жидкости... Золото!.. Бочка зеленая, неподвижно стоит впряженная кляча, неподвижны молчаливые улицы, церкви, театры, дома, мимо которых он ездит каждую ночь, в которых люди и которые немые для него так же, как деревья в лесу... Золото!..

«Э-эх, пятнадцать годов!»

— Убью-у-у!!

— Господа старики, кабы не прошибиться... Действительно, Сидорка — вор, — говорит Антип степенно, — ну только с конями ни разу не поймали. В Сибирь загнать человека — полгоря, да как отмаливать грех будем, ежели понапрасну? Кабы ошибочка не вышла. Вы караульте. Ежели накроете, так и Сибири не надо — кнутовище в зад, и шабаш.

— Убью-у-у!.. — куражится Сидорка.

— Известно, пьяный, — говорит Антип и хочет отойти и не может — ноги по колено увязли в земле, и Сидорка наваливается огромный и растет и кричит уже без перерыва так, что ушам больно, и глаза у него волчьи, светятся, как огни.

— Уууу-у-у-у!..

Ближе, ближе.

Антип подымает голову.

— Уууу-у-у-у!.. — несется, разрастаясь, из холодной ночи, и от этого тяжелого звука самый мрак, густой и неподвижный, кажется, колеблется.

Кругом смутно, неясно выступают чьи-то руки, головы, ноги, смутно виднеются очертания тюков, а дальше безграничное море непроглядной темноты.

И в этой тьме встает огненное чудище. Тысячи голубоватых лучей, сияя и скрещиваясь, изламываются и дробятся в реке, тесня нехотя, злобно и густо расступаящуюся тьму. Видны странные и неопределенные контуры, не мигая, смотрит красный и зеленый глаз, и, высоко вознесшись, отделенная тьмой, плывет одиноко белая звезда.

Антип не может разобраться и понягь, и ему хочется опять к околице, на косогор, на покос с дядей Михеем... «Ку-уда?.. Назад!..» И он трясется на бочке, и бочка гро-

хочет под ним железным грохотом, и неподвижно и мертво стоят каменные громады, заслоняя и околицу, и косогор, и телок, и людей, заслоняя самую ночь.

Баба машет рукой и что-то говорит, но Антип из-за непрерывного грохота, потрясающего ночь, не может разоб-брать и трясется все с той же улыбкой скуки и привычки к своему ночному делу.

«Ах ты, сердяга... измаялась... Пятнадцать годов!..»

И с щемящей, новой, незнакомой тоской он выбирается из тюков, подымается и протирает глаза. Множество огней, странно висящих во тьме, удаляются, тускнеют и гаснут, и вместе с ними удаляется непрерывающийся могучий шум, и слабые отголоски его тонут в шуме колес.

Опять одна тьма. Ветер. Антип ежится. Угреватый, в картузе, лежит согнувшись, натянув на голову и на вылезающие ноги пальто. Ему холодно, и он скрипит зубами и стонет во сне. Длинный свернулся калачиком, и можно подумать — это мальчик.

Антип с минуту стоит и вдруг вспоминает все, бьет себя об полы:

— Ах ты, боже мой!..

Потом опять стоит, озираясь, и снова лезет в шерсть. Сон, тяжелый и черный, как ночь, наваливается, и он спит тяжело, неподвижно, без сновидений.

VII

— Антип! — закричал кто-то пронзительно-тонким голосом.

Антип вскочил, как ужаленный.

— А?!

Возле никого не было.

Холодная река, берег, длинно протянувшаяся над горизонтом белесая полоса выступали из редющей мглы.

Пассажиры, разбуженные предутренним холодом, подымались с заспанными, в красных рубцах лицами, потирая руки, поеживаясь, греясь движением.

Пароход шел поперек, и берег плыл по воде ближе, ближе, и вода, холодно поблескивая, влажно лизала темные столбы пристани.

Когда навалились и положили сходни, Антип перекинул опустевший мешок через плечо и пошел. Он пошел спокойно и уверенно, как будто ничего не случилось и все шло, как надо. Он прошел по гнущимся сходням до конца, и пароход, как тяжело давивший кошмар, остался позади. Матрос, стоявший у конца сходен, загородил дорогу и оттолкнул его назад.

— А?.. Ты чего, милый человек?.. — удивленно и добродушно ухмыляясь, спросил Антип.

— Ступай... ступай назад... ступа-ай! — и матрос продолжал толкать его до самого парохода.

Та привычка, которая пятнадцать лет гоняла Антипа между каменными немymi громадами, погнала его без сопротивления на пароход. Антип шел, ухмыляясь и бормоча:

— Оказия... Што тако?.. А?

Отвалили. Пристань поплыла прочь.

Первые лучи глянувшего из-за синей тучи солнца холодно блеснули по воде. И, в странной связи с ними, по палубе пронесся крик ужаса многих человеческих голосов:

— Аа-а!.. гляди, гляди!

Фигура с насмешливо оттопыренным назади полушубком мелькнула за борт. Все кинулись к борту, перегнулись, жадными глазами лова расходящийся по воде и убегающий от парохода круг. Погрузившись краем, плыла шапка, также убегая назад от парохода.

— Гляди, гляди!.. Вот он... бьется, сердешный, к берегу...

Колеса оглушительно заработали назад. Матросы рвались, как бешеные, спуская шлюпку.

— Мешок тянет...

— Да где?..

— Вон он... волоса моет...

— Кончено!.. Шабаш!..

— Опять выплыл... вон он...

— О господи!..

Сдавленный пар, дрожа, оглушительно шипел. Истериический бабий крик визгливо метался по пароходу. Плакали дети.

На прыгавшей под ногами лодке матросы, задыхаясь и рискуя каждую минуту опрокинуться за борт, ловили что-то баграми в весело колеблющейся воде.

Уже высоко поднялось солнце, когда пароход пошел дальше. На палубе стояло возбуждение и беспокойный говор. Матросам нельзя было показываться.

— Ишь отъелся, идол пузатый!..

— Морда скоро треснет... Людей топите, на этом и жируете!..

— Сволочи!

— За что человека утопили!.. За девять гривен? Чтоб вам ни дна ни крыши!..

— Ии-и, проклятые!.. Как вы на свет-то божий смотреть будете... анахемы!..

Работали колеса. Дышала труба. Светило холодное солнце. Убегала назад сердитая река, и все бежал вперед синий горизонт, дальние деревни, мельницы, зубчатая лента синеющего леса.

БОМБЫ

I

Маленького роста, тщедушная, в оборванной юбке и грязной сорочке, все сползавшей с костлявого плеча, она, нагнувшись над корытом, усердно терла взмокшее, отяжелевшее белье в мыльной пене. Пар тяжело и влажно бродил под низким темным потолком. На широкой кровати в куче тряпья, как черви, копошились ребятишки.

Когда женщина на минуту выпрямлялась, расправляя занывшую спину, с отцветшего лица глядели синие, еще молодые, тянувшие к себе, добрые, усталые глаза.

Ухватив тряпками чугунный котелок, она лила кипяток в корыто, теряясь в белесых выбивающихся клубках, и опять, наклонившись и роняя со лба, с ресниц капельки пота, продолжала тереть красными стертыми руками обжигающее мыльное белье. Капал пот, а может слезы, а может, мешаясь, то и другое. На дворе перед низким, почти вровень с землей, окном лежала, похрюкивая, свинья и двенадцать розовых поросят, напряженно упираясь и торопливо тыча в отвислый, как кисель, живот, взапуски сосали. Петух сосредоточенно задерживал в воздухе лапу, повернув голову, прислушиваясь, шагая и для вида только редко постукивая клювом по крепкой земле, сдержанно переговариваясь с словоохотливыми хохлатками.

— Ох, господи Иисусе, мати божия, пресвятая богородица... И чего это...

Пена взбилась над корытом целой горой, и пузыри, играя радугой на заглядывавшем в окно солнце, лопались, тихонько шипя.

— Конца-краю нету!.. — как вздох, мешалось с плесканьем воды, с подавленным шопотом и смехом ребятишек, затыкавших руками другу другу рты.

Кто-то за дверью громко колот орехи, и их сухой треск то приостанавливался, то сыпался наперебой. Орехи, должно быть, были каленые, крепкие, и сыпалось их много. Потом начинали шелкать прямо перед окном, хотя на дворе никого не было, кроме свиньи с двенадцатью поросятами.

Между сухим треском коловшихся орехов вставлялись глухие удары, как будто кто сильно, с размаху захлопывал дубовые двери, и стены и пол вздрагивали, и чуть звенели подернувшиеся от старости радужными цветами стекла в низеньких окнах. При каждом тяжелом ударе свинья вопросительно хрюкала и шевелила длинными белесыми ресницами. А стертые, красные и припухшие руки продолжали тереть, и капали в мыльную воду не то пот, не то слезы.

— Мамуньке скажу...

— А ты не сказывай, а я те дам тоже такую.

— А я ее исть хочу.

— А ее не едят... Вишь, крепка... — носился детский шопот и подавленный смех и возня.

II

В окно заглядывала темная ночь, шурша ветром и стуча дождем. Ребятишки спали. Марья возилась около печи, ставя тесто. Снаружи стукнули кольцом. Она отперла. Вошел муж с несколькими товарищами и *он*. Это было два года тому назад.

Вытерли ноги и прошли в чистую половину. Сели. У *него* было молодое, строгое и безусое лицо. *Он* сел под образами, и все молчали, покашливая в кулак.

Когда посидели, *он* сказал:

— Чтю же, больше никого не будет?

Муж откашлянулся и сказал:

— Нет... никого... Потому, собственно, погода, и народ занятой...

И хотя был очень молод, *он* сидел, нахмутив брови, и все глядели на пол, на свои сапоги, изредка украдкой поглядывая на *него*. *Он* сказал:

— Тогда приступим.

И, поднявшись, басом, которого нельзя было ожидать от такого молодого, сказал:

— Товарищи, вы видите перед собой социалиста.

Точно в комнату невидимо вошел кто-то страшный. Марья стояла за дверью и прижалась к притолоке. Все перестали покашливать, перестали смотреть себе на ноги и на пол, а, не отрываясь, глядели на *него*. А *он* говорил, говорил, говорил...

У Марьи дрожали руки, и она тыкалась возле печки бестолку, брала то кочергу, то миску, то без надобности подымала полотенце и заглядывала на теплое пузырившееся тесто.

— Ах ты, господи, кабы дети не проснулись!.. — шептала она.

А безусый все говорил. Марья ничего не разбирала, о чем шла речь, бестолку взясь с посудой и схватывая только отдельные слова. И ей пришла дикая мысль, что *он* сейчас скажет: «Бабу повесить у притолоки, а ребят — в лежанку головой...» И хотя *он* этого не говорил и — она знала — не скажет, руки у нее ходили ходуном. Или скажет: «Будет им, хозяевам-то, носить шелки да бархаты, нехай твоя баба поносит... Сделать ей шерстяную юбку да кофточку шелковую...»

Но *он* и этого не говорил, и она знала, что не скажет. Слесаря, когда *он* к ним обращался: «Не так ли, товарищи?» — отвечали хрипло срывающимися голосами:

— Верно... это так.

Они робели пред ним, и это наводило на нее еще больший страх. А в окно все внимательнее заглядывала ночь, и шуршал ветер, и плескался дождь.

И когда ложилась с мужем, Марья проговорила, крестясь и испуганно глядя в темноту:

— Вась, а, Вась... кабы беды не нажить?.. Сицилист, вить... Мало ли что...

Муж сердито повернулся на другой бок:

— Молчи, ничего не понимаешь.

III

Свинья попрежнему неподвижно лежала, и двенадцать розовых поросят, подкидывая мордами, толкали ее в живот. Очевидно, им уже нечего было сосать, но доставляло удовольствие колыхать этот большой, упруго подававшийся живот.

Важно и медленно густой черный дым подымался над городом в нескольких местах, и орехи продолжали торопливо щелкать, и бухали дубовые двери... То вдруг все затихало, и это имело какое-то отношение к этому медленно и важно подымавшемуся дыму; и на мыльную воду, и на красные руки капали капли не то пота, не то слез...

Безусый приходил после того несколько раз, и хотя он больше не говорил, что он социалист, и она угощала его чаем — все-таки продолжала его бояться и чуждаться.

По субботам маленькая комната битком набивалась рабочими. Красные и потные, они сидели чинно, пока *он* говорил, но понемногу вступали в разговор, разгорались, перебивали друг друга, стучали кулаками в грудь, и подымался такой содом, что хоть святых выноси.

Что-то странное, новое и непонятное вошло неуловимо в их домишко. Марье казалось, как будто проломили стену, и через пролом стало светлее, и неслись с улицы звуки, но она боялась, что будет непогода, и сюда будет нести дождь и снег, и будет заглядывать осенняя ночь.

Очень хорошо она знала, что завод давит рабочих, что муж каждый день приходит истомленный, что у него, когда-то краснощекого, здорового и веселого, ввалилась грудь, впали щеки, и при каждом расчете излишка рабочих они дрожали. И все это было неизбежно привычно и тянулось, как тянется день, наступает вечер, ложатся спать, и опять день, и опять работа, ребятишки, заботы... Теперь же то, что было привычно, буднично и неизбежно и о чем не думалось, да и некогда было думать, теперь это называли вслух, об этом говорили, спорили, и оно обернулось к Марье какой-то иной, новой, тревожной и беспокойной стороной.

И опять ей показалось, что придет кто-то, строгий, недоступный и суровый, и скажет:

— Будет хозяевам-то с чаями да сахарами... Пора и вам, сердягам, передохнуть...

И кто-то другой, ухмыляясь поганой рожей, скажет:

— А в тюрьму хочешь?!

Безусый стал приводить с собой товарища. Этот был постарше, с лысиной и черной бородкой. На обоих были синие блузы и высокие сапоги, но руки у них были белые и мягкие. Нельзя было понять, что они говорили, но у обоих были чистые и ясные голоса, и все хотелось их слушать.

— Вась, а, Вась... — говорила Марья, ложась возле мужа.

Она виделась и успевала перекинуться с мужем двумя-тремя словами только перед сном. Уходил он до свету, а приходил ночью, черный, пропитанный железом, нефтью, усталый и сердитый.

— Вась, кабы беды не нажить... Неровен час... У Микулихи, сказывают, забрали мужа и брата, ей-богу!.. Жан-дармы, сказывают, приходили, все обшарили, перину пороли, вот как пред истинным!..

— Много ты понимаешь!

Он сердито отвернулся к стене, но не захрапел, как это обыкновенно бывало, а полежал молча и торопливо сел на постели. Ворот рубахи отстегнулся, показывая волосатую грудь.

— *Они* — благодетели наши... А то как же?.. Что я понимал! Пень бессловесный и больше ничего...

Он посидел, строго покачивая головой, и почесал поясницу.

От синей полосы лунного света по всей комнате лежали длинные, ломаные, уродливые тени.

— Блох ноне множество.

— Блох — сила. Пропадать бы надо, а они кипят.

Он опять почесал поясницу.

— Главно, понять... Нашему брату, рабочему, понять только, а там захватит и поволокет... Все одно, как пьяницей сделался — не оторвешься... Никак, кто-то калиткой стукнул?

Они прислушались, но было тихо, и лунная полоса по-прежнему неподвижно лежала на кровати и в комнате, прорезанная тенями. И в этой полосе сидел человек, всклокоченный, костлявый, с глубокими впадинами над

ключицами. Жена глядела на него, и тонкая, щемящая боль кольнула сердце. Ей захотелось приласкать этого человека:

— Вась, а, Вась... худой ты...

IV

Марья стала разбираться. Она понимала, что «эксплоатация» значит — хозяева мучат, что «прибавочная стоимость» это — что хозяева сладко едят, сладко пьют вместо нее с мужем, вместо ее детей, и прочее.

И двоилось у нее: все это было старое и известное, и все это поражало остротой новизны и несло в себе зерно муки и гибели. И она внимательно слушала, когда в тесной комнатке стоял гул голосов, с тайной надеждой и радостью, что изменится жизнь, что еще в тумане и неясно, но идут уже светлые дни какой-то иной, незнаемой, но радостной, легкой и справедливой жизни. А когда оставалась одна и сходилась с соседками, сердито говорила:

— И чего зря языками болтают. Так, нивесть что. И будто умные люди, из панов, а так абы что говорят. Ну как это можно, чтоб хозяев не было? А кто же управляться будет, а страховку кто будет делать, а жалованье платить?

— И не говори!.. Вон у Микулихи-то забрали, доси не выпускают... Дотрезвонятся и эги.

Но когда приносили литературу, прокламации или мешочки со шрифтом и муж отдавал ей, она тщательно и бережно запрягивала и хранила их.

В глухую полночь пришли жандармы и арестовали мужа. Марья обезумела. Бегала в жандармское, в полицию, к прокурору, валялась в ногах и выла. Под конец ее отовсюду стали гнать. Потом она съежилась, замолчала, никого ни о чем не просила, и когда приходила на свиданье в острог, глаза у нее были сухие и горячие. Она непременно приносила бублик, или пирожок, или яиц. Не волновалась, не плакала, не упрекала, а рассказывала о детях, о соседях, про заводских.

Дома работала как лошадь, и никто не знал, когда она спит. Надо было прокормить семью, и она билась как рыба об лед.

Раз как-то пришел безусый проведать и навести какие-то справки. Когда она увидела его, лицо исказилось, она схватила полено и бросилась на него:

— Вы погубители наши!.. Вы кровососцы... Будь вы трижды прокляты!.. И чтоб вас, анафемов...

Из тюрьмы муж вышел совсем больной и несколько месяцев был без работы. Это было самое тяжелое время для Марьи. Она работала с неослабной энергией, и одно только жгучее чувство светилось в ее сухих и горячих глазах — ненависть. При одном имени: жандарм — она трепетала от злости.

Снова по ночам стал таинственно собираться народ в их домишке. Назревали события. В воздухе пахло порохом и кровью. То там, то здесь находили убитыми городских и шпионов.

v

Клубы черного дыма важно подымались над городом, свинья кормила поросят, грохот захлопывающихся дверей сливался в протяжный гул. Женщина торопливо домывала... Кто-то, несмотря на этот черный день, несмотря на трескотню и грохот, кто-то должен был носить тонкое чистое белье, не мог оставаться без белья. И ребятишки, возившиеся на кровати, не могли оставаться без хлеба. И она запаривала, намыливала и терла, терла, терла.

Низенькая дверь отворилась. Нагнув голову, торопливо шагнул молодой парень. Женщина разогнула спину, глянула и всплеснула руками:

— Савелий!..

У него было почерневшее, осунувшееся — как будто он не спал целую неделю — лицо и темный сгусток запекшейся крови под правым глазом.

— Тетка Марья... во...

Он с усилием улыбнулся запекшимися губами, тяжело опустился на табуретку и завел веки. Потом торопливо вскочил и, глядя испуганными красными глазами, проговорил:

— Дай глотку промочить, да достань поскорей... энти... знаешь, которые спрятать тогда приносили.

Она с отчаянием хлопнула руками:

— А мой-то, мой где?.. Что с ним такое?.. Что он не идет?.. Господи, да разнесчастная я, несчастная... Да милый ты мой соколик... Да куды же я теперь голову приклоню...

Она уставилась на парня злыми глазами и шипела:

— Где мой?.. Говори, где... не бреши... говори!..

Он бегал глазами по комнате и оглядывал себя:

— Вишь, шрапнель всю полу, как горохом... дырочки проделала!..

Она взяла ведро и, рыдая и сморкаясь в руку, пошла во двор. Парень прислонился к стене, запрокинул голову; веки тихонько полузакрылись, рот открылся, показывая белые зубы. Он тихонько подсвистывал носом, покойно дышала грудь, и мирное, спокойное, счастливое выражение разливалось по измученному лицу.

Было тихо. Ребятишки притаились и хитрыми смеющимися глазами следили за спящим. В углу грызла мышь. Петух подошел к самому окну, постоял, поворачивая голову, и вдруг заорал что есть силы: ку-ка-ре-ку-у!.. Свинья хрюкнула, ребятишки прыснули со смеху.

Вошла Марья с оттягивающим руку ведром. Парень вскочил, как безумный, шаря у себя на груди и оглядывая комнату дикими глазами:

— Где?.. Куды?.. Постой!.. Фу-у, а я думал...

— Испей, касатик... Покормила бы тебя — нечем, родимый: корочки сухой в доме нет. — И она опять заголосола: — Да куды мы денемся? Да куды мы голову приклоним?.. Да родимый ты наш батюшка!..

Он жадно пил, запрокидывая голову и проливая прыгавшую по одежде серебряными каплями воду.

— Спасибо, Ивановна!.. Прощай!.. Будь тебе, чего сама пожелаешь. — И вдруг нервно заторопился: — Скорей... скорей!..

— Да куды он их дел, не помню.

— В подполье будто, сказывал.

— Вытащил... Где-то в коробке под кроватью...

Она лазила на коленях, шаря рукой под кроватью, под скамьями, и вытащила небольшой ящик.

Оба нагнулись.

— Пустой!!

— Куды же делись?

— Взял разве?

— То-то, что нет... Послали. Непременно надо.

Ребятишки хихикали.

Странный звук пронесся по комнате. Парень стоял белой стены, протянув растопыренные пальцы. Марья, не поднявшись еще с колен, глянула по направлению его взгляда и застыла, и глаза у нее сделались огромные и круглые: перед сбившимися в кучу ребятишками лежали небрежно на кровати два металлических цилиндра, грубо обделанные напильником. Что-то в них было необыкновенное, потому что люди в застывших позах несколько секунд не могли оторваться глазами.

Потом Марья, как кошка, подобралась к перепуганным детям и с ненавистью прошипела:

— Тссс... нишкни!..

Парень, у которого лицо стало отходить, шагнул, осторожно взял и положил, пожимаясь от холодного прикосновения, один цилиндр за пазуху, а другой опустил в карман.

И когда был уже у двери, обернулся и покачал головой:

— Крошки бы от дому не осталось...

И из-за притворенной двери донеслось:

— Прощай, Ивановна. Спасибо... Не поминай лихом!

Свинья поднялась на ноги, постояла и подумала. Поросята играли, боком подкидывая мордами друг друга. Потом опять грузно легла на бок, и поросята снова выпускали, тыкая мордами, стали сосать ее.

Из орудий продолжали стрелять, и дым клубами подымался к небу.

Сыпались орехи, громко хлопали дубовые двери, и столб, густой и черный, медленно и важно подымался к небу. А Марья терла скользкое мыльное полотно, и пот, как роса, проступил на ее лице, и капли, соленые и едкие, капали в мыльную воду.

ПОХОРОННЫЙ МАРШ

I

Они шли среди огромного города густыми чернеющими рядами, и красные знамена тяжело взмывали над ними, красные от крови борцов, щедро омочивших их до самого древка.

Они шли между фасадами гигантских домов, испещренных лепными орнаментами, статуями, мозаикой, живописью, равнодушно и холодно глядевших на них блеском зеркальных окон. Город шумел обычной, неизменяемой жизнью. И среди каменных громад, среди заботливо, равнодушно торопящейся по тротуарам публики — над их бесчисленными рядами, как тысячеголосое эхо, носилось: — ...рабочий народ!..

И гордо и чуждо неслись эти клики.

Гордо неслись над черными рядами, бесконечно терявшимися в изломах улиц.

Чуждо звучали среди каменных громад, среди роскоши зеркальных витрин.

С веселыми безусыми лицами шли молодые.

Сурово-сосредоточенно шли старики, быть может все еще борясь с таившейся в глубине души привычкой рабства, с темной боязнью новизны впечатлений, все опрокинувших. И с испуганным изумлением оглядывались они на руины вчерашнего дня.

Мелькали черные козырки, сапоги бутылкой, пиджаки, черное пальто. Носились шутки и остроты, вместе с толпой плыл говор, гомон, и, местами покрывая веселыми взрывами, вырывался смех.

— Товарищи, держите равнение!..

— Да все Ванька выпирает.

— Вишь, у него брюхо колесом, и забастовка его не берет...

— С запасом, стало...

— Да-а... приходим, сейчас дежурный: что угодно? Так и так, депутация от рабочих. Ждем. Выходит генерал. Ну, мы скинули шапки...

— А вы бы и штаны скинули...

— Ласковее бы стал.

— К ноге дал бы приложиться...

Рассказчик конфузливо-сердито замолкает, и по рядам густо несется добродушно-иронический смех.

Весело, беззаботно идет толпа, как будто эти чистые, прямые, широкие улицы, эти фасады, испещренные лепными украшениями, как раз были предназначены для них, случайных здесь гостей, для этих черных рядов, развертывающих почуявшую себя силу.

И ряды проходят за рядами, и реют знамена, и плывет:

Нам не ну-ужны зла-ты-ые ку-у-ми-и-и-ры...

и разрастается, захватывает и, густо дрожа, заполняет улицы, площади, овладевает городом, подавляя на минуту его беспокойно-крикливую жизнь, разрастается в нечто могучее, могучее не своей наивной неуклюжестью поэтической формы, а всколыхнувшимся чувством глубоко взволнованного моря, почуявшего человеческое. И в этом густом, все заполняющем гуле шагов слышалась гордая сила, познавшая самое себя.

II

— Товарищи!

Его высоко поднимали над чернеющим морем голов, и далеко был виден он, и голос его звучал отчетливо и ясно. Передние ряды задерживались, задние подходили, становились все гуще, и текучая людская река останавливалась, как в молчании останавливаются шумные воды, прегражденные в русле своем.

Звук шагов замер и только глухо и мощно доносился из дальних улиц.

— Товарищи!.. Даже окинуть я не могу ваших рядов. Но... — он поднял руку, и голос его скрепчал, — не в численности наша сила. Вот мы идем, идем безоружные, с голыми руками, на которых только мозоли. Перед физической силой мы — слабее ребенка. Десяток вооруженных людей может затопить нашей кровью улицы. Почему же враги в злобном ужасе озираются на нас?

Он приостановился. И стояло великое молчание. И он окинул неподвижное чернеющее море и прислушался к далекому мощному гулу еще идущих.

— Не руки наши страшны врагам — страшны сердца, страшно наше прозрение, страшны горячие сердца, бьющиеся неутолимой жаждой свободы! Как черная зияющая бездна, раскрылось наше сознание. Мы увидели наше глубокое рабство, мы увидели наших поработителей. Собравшись, мы стали на одном краю бездны, а наши поработители — на другом, и поняли мы: нет нам примирения. И они поняли: нет им примирения. И в этом ужас наших врагов!..

Он говорил им о вечной борьбе поработителей и поработенных, говорил о железном ходе исторической жизни, который неутомимо сотрет главу змия власти человека над человеком, говорил о вещах, которые они тысячи раз слышали, знали наизусть, сами могли говорить, и все-таки жадно, не отрываясь, ловили его слова, ловили много раз слышанное, ибо оно не утрачивало для них девственной прелести новизны. Как любовь для юноши, старое для человечества было вечно ново для человека.

И снова течет черная река между неподвижными громадами, яркими пятнами краснеют знамена, и слышится говор, гомон и смех, и, мешаясь с непрерывным гулом шагов, торжественно плывет:

На-ам не ну-ужны зла-ты-ые ку-у-ми-и-ры...

А из дальних улиц все выходят и выходят ряды.

Далеко в дымке теряющейся улицы смутно засерело, как сереет печальная отмель в пустынном море, плоская и безлюдная, печальная отмель, над которой носятся белые чайки. Все подняли головы, раздулись ноздри, собрались складки между бровями.

III

- А-а!..
- Где?..
- Вон...
- Какие?..
- Не видишь...
- Они!.. Они!..

Как тревожные ночные звуки, срывался говор, передаваясь трепетом неопределившегося беспокойства.

А серая отмель выростала и из печальной и скучной становилась грозной. Ясно стало: это люди, серые, одинаковые. Солнце играло на остриях оружия.

Было у них одно лицо, неподвижное, немое, как каменное лицо валуна среди мшистых скал, от века нагроможденных. Тусклые глаза мутно глядели на приближавшихся.

А те шли тесно, взявшись за руки, и над чернотой бесконечных рядов кроваво реяли знамена, и стоял все тот же густой, непреградимый, упорный, все заполняющий гул шагов.

IV

Офицер полуобернулся к солдатам и сказал слова команды.

Горнист поднял рожок, раздвинул усы, приставил к губам, надул щеки. И разом вся огромность, все значение больно сверкавших штыков, черно зиявших пулеметов перешло к одному человеку в серой шинели.

Словно испытывая всю мощь, весь ужас, который сосредоточился в нем, он оторванно бросил этим тысячам жизней три коротких звука.

Дружно блеснув, покачнулись штыки, и сотни их послушно легли на руку, остро протянувшись к надвигавшемуся живому морю и безмолвно глядя чернеющими дулами. Передняя шеренга серых людей опустилась на колено, и пулеметы жадно глядели на неумолимо приближавшиеся живые тела.

Смолк говор, потух смех. Настала звенящая тишина и все больше заполнялась звуком шагов. И этот нарастающий гул шагов наполнял мертвое молчание и стоял над улицами, площадями, царил над примолкшим городом.

Разрушая напряжение, над тысячами обреченных, тысячами молодых и старых голосов могуче зазвучал похоронный марш:

Мы же-ер-тво-ю па-а-ли в борьбе-е ро-ко-вой...

Как прощание восходило пение к бледному небу, к кровавому солнцу, к каменному городу, затаившему шумное дыхание, и народ, толпившийся по переулкам, жавшийся вдоль тротуаров, народ снимал шапки им, идущим.

..лю-бви без-за-вет-ной к на-ро-о-ду...

Как погребальный звон, плыло над ними:

...мы от-да-ли все, что могли, за не-го...

Лица были бледные, глаза светились, и шли они, как обреченные.

Розовато дымящийся туман окрашивал солнце, дома, лица, и острой волной набегал кровавый запах, и чувствовался на языке приторно знакомый привкус.

Пространство между надвигающимся погребальным шествием и серыми шинелями, страшное пустотой смерти, таяло, как догорающая жизнь.

...но гроз-ны-е бук-вы дав-но на сте-не
чер-тит ру-ка ог-не-ва-я!..

Тысячи людей шли, тысячи людских голосов звучали погребальной песнью, торжествующей песнью смерти, и на лицах и на белых стенах домов траурно реяли черные тени знамен.

V

Офицер, с бережно зачесанными кверху усами, холодно мерял привычным глазом неумолимо сокращающееся расстояние, блеснул, подняв руку, саблей, и губы шевельнулись, произнеся последнее слово команды.

Страшные секунды ожидания покрылись:

...прощайте же, бра-атья!..

И в то же мгновение исчезло пространство смерти, затопленное живыми, движущимися рядами. Как сверкнувшая вода, блеснули покорно поникшие к земле штыки,

и солдаты, растерянно и радостно улыбаясь, потонули в человеческом потоке; лица их были бледны, и у каждого было свое особое молодое лицо. Растворилась серая преграда в бесконечно чернеющих надвинувшихся рядах, как скатившийся с кремнистого берега гранитный валун в набегающих волнах.

Отвернувшись, офицер опустил ненужную холодную саблю. Глупо глядели пулеметы.

Десятки тысяч людей шли, пели гимн смерти, и торжественно и могуче из могильного холода и погребального звона выростала яркая, молодая, радостная жизнь и сверкала на солнце, и играла на лицах тысяч людей, и народ, густо черневший вдоль улиц, несмолкаемо и иступленно приветствовал их.

Кровавая дымка подобралась и растаяла. Исчез приторный привкус и острый, раздражающий запах.

Солнце сияло, и город снова зашумел тысячами задержанных звуков.

СОПКА С КРЕСТАМИ

I

Что бы ни делала — смеялась ли, или шла по улицам, болтала в гостях, читала или открывала щурящиеся от утреннего света глаза, — всегда один и тот же постоянный, не теряющий своей болезненной остроты, не ослабляемый временем вопрос вставал: а *он*?

Покрывалась земля снегом, белели крыши, верхушки фонарей... а *он*? Стояли в цвету яблони, пахло зацветающей сиренью, дымилась черная отдохнувшая земля... что-то с *ним*? Жгло полуденное солнце желтеющие поля, блестела знойным блеском река... Но над *ним* такое ли солнце?

Годы проходили неумолимо и безжалостно, все менялось, но все то же оставалось: «А *он*?»

Для других она была высокая, стройная девушка, со спокойными глазами, с большим, оттягивавшим головку узлом каштановых волос, себя она чувствовала упруго сжатой вокруг одной мысли, одного представления.

Но никогда не могла она представить его себе таким, каким он должен был быть теперь: выбритая наполовину голова, серый халат, тупо и мертво звучащее железо... Представлялся он, как тогда, стройным и подвижным, открытое, смелое лицо и молодые, полные жизни глаза.

Уже три года... Становилось страшно, что так же пройдет вся жизнь. Каждый день убегал, заполненный тысячами забот, дел, разговоров, мыслей, улыбок, ничего не изменяя.

Раз в год или в два она получала от *него* несколько строк. Это был маленький серый клочок плохой, почти

оберточной бумаги, с вкрапленными кусочками соломы, с пушисто и неровно оборванными краями, захватанными, со следами пятен от пальцев. Должно быть, через много тайных рук проходил этот клочок, прежде чем попасть в конверт и на почту.

Часами глядела она на этот клочок, и странно было, что светит солнце, стоят дома, мчатся экипажи, что жизнь льется равнодушная и слепая, как будто не было этого серого, измятого, тщательно расправленного клочка.

Несколько сухих и холодных строк — беглой, знакомой рукой. Он говорил, что здоров, просит не беспокоиться, и — главное — жить, жить своей полной жизнью, не заботясь о *нем*. И не было в них ласки, нежности, намека любви. И эти сухие короткие строки звучали, как похоронный звон...

Уходили дни, месяцы, годы, принося свои заботы, дела, интересы, и все то же жило болезненное, бессознательно смутное воспоминание.

II

Нет водоема, который бы не иссяк, нет гор, которые не были бы размыты, нет раны, которую бы не затянуло.

Молодость просила счастья, ласки, любви; светило солнце, и весна приходила каждый раз новая, непохожая.

Прошлое тускнело, как далекие очертания покидаемого края, жизнь несла только настоящее.

И голоса товарищей, смех, повседневные дела, милые, ласковые глаза, мысли, книги — все оплетало невидимой и прочной паутиной.

Бурлил самовар, сидели вокруг стола с молодыми лицами. Звучал смех или загорался спор.

— Вы висите в воздухе...

— Нет, это вы висите в воздухе с вашей оторванностью от народа, от русского народа, от индивидуальности, от национальных особенностей народной жизни...

— На мужике держится весь уклад рабства и угнетения...

— Господа, а из Акатуя побег...

— Да, да, постоит-ка... у меня письмо оттуда...

— Ну-у?! Когда?.. Каким образом?..

- Да уж с неделю... один из ссыльных привез...
- Что же вы раньше-то... что же молчите?.. читайте.
- Читайте, читайте!

Сосредоточенно достал бородатый из бокового кармана неуклюжий серый, в несколько раз сложенный и мелко исписанный лист, осторожно разложил на столе, как будто это была страница, вырванная из священной книги, и начал хриловатым, глухим, но везде отдававшимся голосом:

«...нет, милые друзья, не надо утешений, надежд, подбадриваний. Какие бы слова ни говорить, какие бы ни приводить соображения, как бы ни изменялись события, все холодно и спокойно покрывается: «но ведь вечная!..» В окно мне смотрит кусочек неба да белеет вершина сопки, а на ней чернеют кресты: туда таскают окончивших срок. И мой срок кончится там. И для меня одна дорога — только туда... Но я одного прошу, умоляю: ничего не говорите Кате. Пусть она живет, пусть любит солнце, счастье, жизнь. Ее образ я ношу в сердце своем днем, ночью и засну последним сном с ее именем. И когда смертельная, пожирающая тоска наваливается и я хочу убить себя, я вспоминаю ее милые спокойные глаза, и... живу. Зачем?..»

Лежали, навалившись грудью на стол, не спуская глаз с чтеца, сбившись тесной кучей, придерживая дыхание. Но отдельно от всех из темного угла сверкала пара глаз. Как будто не было человека, не было платья, рук, прически, не белело лицо, только играли фосфорическим блеском ни на секунду не тухнувшие глаза. Горячным блеском глядели они поверх голов, поверх чтеца, поверх громадных пространств, туда, где немо, неподвижно и мертво ожидала сопка и чернели кресты.

Тихонько встала, оделась и вышла. Ничего нельзя было сказать нового, уже ничего нельзя было добавить. Кто-то мертвыми, холодно-синими губами сказал: «аминь». Сопка с чернеющими крестами...

Так вот почему суровы и коротки были его письма к ней, вот почему не вырывалось ни одной жалобы, ни стона, — мертвые оставляют жизнь живым.

И она оглянулась и вздохнула вздохом облегчения...

Все остановилось: солнце, люди, экипажи, шум улиц. Уже не придет весна обновляющей новизной. Жизнь остановилась на роковых словах недочитанного письма

III

Она не знала, как устроится, как будет действовать, не было никакого определенного плана, но стук колес под полом, убегающие столбы, поля и далекий горизонт говорили, что с каждой минутой, с каждой секундой сокращаются тысячи верст, которые отделяют от *него*.

Проходили ночи, томительные, долгие, с колеблющимся неверным полумраком, с мерцающей свечой, с двигающимися по сонным лицам, покачивающимся стенкам и потолку тенями, с немолчным говором колес. Проходили дни еще более томительные, с несвязными дорожными впечатлениями и разговорами, с забывающимся гулом и стуком, к которому привыкло ухо и который ощущался только в молчании, когда поезд стоял на станциях. А впереди лежали целые недели и тысячи верст пути.

И среди скучного однообразия одним немеркнущим представлением упрямо стояла сопка с крестами. Угрюмая, одинокая, она заслоняла будущее, прошлое, заслоняла мысли, соображения, предстоящие неодолимые препятствия, стояла, заслоняя небо, одна во вселенной, молчаливая, немая, с непокорной тайной.

Поднимала глаза, с изумлением глядя на привычно проходящих кондукторов, на потные лица пассажиров, прислушивалась:

— ...да-а, святитель Прокопий лежит в самой дальней пещере. Пять годов назад была, к ручке прикладывалась, а нынче пришла, ручки уже нету, почернела, земле предалась...

— Земле предалась...

— Земле, стало быть, предалась!..

И покачиваются подвязанные платками головы, и глядят наивные, тупо внимательные бабьи лица. Лавры, монастыри, монахи, золотящиеся при закате кресты — все это встает огромной громадой чудовищной жизни, которая клубится, разворачивается и творит свое, в которой нет места сопке с крестами.

Поезд катился среди равнин и лесов, через реки и луга, между гор, обрывов, через ущелья и перевалы, и казалось, что он несется в другую сторону, что расстояние все больше и больше ложится между ним и сопкой.

Но когда носильщик снес вещи на вокзал небольшого городка в самом сердце Сибири, усталость и равнодушие вдруг охватили неодолимой сонливостью.

В крохотном номерке нечистой гостиницы спала крепким, тяжелым сном, а когда просыпалась, все те же глядели в окна деревянные крыши домов, все те же тянулись по бокам улиц деревянные тротуары, все так же хмуро, ровно и серо висело серьезное, молчаливое небо. И люди были чужие, и прислуга, подавая самовар, как бы говорила: «нам все равно...»

Сопка с крестами затерялась и пропала. Со всех сторон стояло чуждое, молчаливо-враждебное. И надо было начинать, и жизнь потянулась.

Обмахиваясь веером, она сидела в цветнике нарядных дам и девиц, и красная роза дрожала на ее груди. Было, как всегда бывает на балах: мягкие звуки музыки, много света, воздушные пляски, декольте, цветы, фраки, мундиры и бальные, праздничные лица так же обязательные, как и роскошные платья. И положив руку на черное плечо и слегка отвернув голову, шла в мягком томительно медлительном танце, и зал, пестреющий цветными красками людей, медленно плыл по огромному кругу.

К ней то и дело подходили во фраках и мундирах, и она много танцевала, и много завязывалось новых знакомств, и всем отдавала милую улыбку, и спокойно и грустно глядели глубокие черные глаза.

В шуме и пестроте бальной жизни фразы принимали иной, больший, чем содержали, смысл, лица казались значительнее, и временами боязливо вспыхивало сознание, что, быть может, это и есть настоящая жизнь, быть может железный порядок вещей требует пользоваться жизнью таковой, какой она дается,— ни молодость, ни время не ждут.

Но когда возвращалась домой и, полураздетая, с поникшей головой, задумчиво стояла над кроватью, медленно и неуклонно слезала мишура с бальной музыки,

с цветов, с яркого освещения, с бальных разговоров, с бальных лиц. Угрюмо и одиноко стояла сопка с крестами, заслоняя весь мир.

Но почему смысл жизни — в этом угрюмом, без красок, холодном, одиноком, полном тоски и отчаяния?

Почему?

Ответа не было. Молча и немо стояла сопка.

Жизнь складывалась из кусочков, без плана, без определенно поставленной ближайшей цели, с постоянным и смутным сознанием, что в конце концов куда-то придет, устроится, что-то будет достигнуто, и она увидит дорогого человека. А дни уходили за днями, месяцы за месяцами, кончался год.

Она добилась известного положения в городе в качестве учительницы, и время все было заполнено. И опять постоянные заботы, дела, работа стали затуманивать память о нем. Тысячи нитей повседневно снова опутывали и оплетали. Она не давалась, и по ночам, глядя в темноту, горько думала о своем бессилии что-нибудь предпринять и перебирала тысячи планов увидеться с ним, но приходил шумный, пестрый, требовательный день и опять все отодвигал и затуманивал.

В ее отношениях к людям была постоянная двойственность. Они забирали все внимание, силы, напряжение, но в шуме и сутолоке постоянно жило несознанное ощущение, что это пока так себе, а настоящее где-то впереди, в будущем, подернутое смутной дымкой, точно раскинулся немолчный крикливый бивуак, который в конце концов сменится, и все кругом опустеет и замолкнет.

В этом городе, куда на зиму съезжалась приисковая знать, где были многочисленные представители административных учреждений, зима проходила шумно и весело. Балы, вечера, рауты. И в их чаду она чувствовала силу женского обаяния. Это проснулось незаметно.

И в студенческой среде девушка чувствовала себя женщиной, но это тонуло в милых, мягких, товарищеских отношениях, тонуло в обилии умственной работы, мысли. Здесь же, среди золотой молодежи, среди тузов золота, важных чиновников, она чувствовала себя нагой, сильной только как женщина, как мраморная статуя.

— Но скажите, пожалуйста, что вас прельщает в этой беготне по метеорологическим станциям?

У него выхоленное лицо, мундир, крупные брильянты в перстнях.

Она чуть усмехается.

— Я же состою членом географического общества... мне поручаются научные работы.

— Ба!.. Наука!.. Наука для старцев, для тех, кто вышел в тираж, для вас — свет, удовольствия. Нельзя себя закапывать в запыленные фолианты...

— Но ведь...

— Представьте же, если бы цветы стали рубить, как капусту, в борщ... Ха-ха-ха... Что было бы...

— А у меня к вам просьба.

Он предупредительно привстает и кланяется.

— Приказывайте!..

Она смотрит, и ее черные, спокойные, дремлющие в глубине глаза говорят с тем особенным девическим цинизмом целомудрия, недоступности и чистоты: «Видишь, молодая, крепкая, стройная... упруга девичья грудь и нежны губы, еще не знающие поцелуя, но мне решительно до тебя нет дела, и ты не позволишь себе ни намека на вольность». И она чувствует, как этот немой, постоянно звучащий в ее фигуре язык раздражающе-упруго отделяет от нее мужчин, постоянно притягивая их к ней.

— Видите ли... как раз по поводу ненавистой вам науки.

— Для вас я готов сделаться ученым и мудрецом.

Глаза лукаво смеются.

— Ну-ну... не сразу... Мне необходимо совершить ряд поездок с научной целью. Но вы ведь знаете, как относятся в глуши к научным работам и наблюдениям, особенно если это женщина... вот даже вы...

— Помилуйте, вы не так меня поняли... напротив, меня чрезвычайно интересуется... Словом, приказывайте, все сделаю, что в моей власти.

— Я попрошу вас, — она говорит спокойно-приказательно, — я попрошу вас... нельзя ли будет выдать мне открытый лист для поездки и... и маленькое... маленькое обращение в нем к властям большим и малым о содействии, чтобы помогли ориентироваться. Вообще ведь трудно, ничего не знаю...

Он подумал. У нее замерло сердце и почти не билось.

— Н-да!.. Надо будет вас представить губернатору. От него зависит. Я все устрою, — говорил он решительно и с таким лицом, как будто хотел сказать: «Видишь — для тебя я все делаю».

А она спокойно глядела глубокими глазами с таившейся насмешливой улыбкой в углах и как бы говорила: «Знаю, но мне решительно все равно, и между нами попрежнему такое же расстояние...»

И эта особенная власть женской молодости бессознательно наполняла ее ощущением некоторой гордости и смутного пренебрежения и брезгливости к окружающим. Пока она молода и красива, обычные, обязательные рамки человеческих отношений странно для нее раздвигаются.

И она была представлена губернатору. Бодрый старик, с неизменным выражением своего особенного положения, любезно согласился на просьбу.

IV

Снег сверкал и искрился. Он сверкал и искрился везде, куда доставал глаз: и по крутым увалам белевших сопок, и по ложине, и редко мелькая и падая в воздухе брильянтами. Скучно и сосредоточенно бежали гуськом лошади, выворачивая и поблескивая отбеленными подковами, пошатывая крупами, потряхивая думающими головами, бежали и думали свое, такое же однообразное, как эта бесконечно бегущая, скрипучая дорога.

Мороз лежал на всем, густой, тяжелый, прозрачный, и снежные очертания были жгучи.

Молчаливая пустыня раздвигалась скупой, отовсюду волнисто загораживая снежными искрящимися линиями, и язык молчания спокойно и холодно говорил, что нет места здесь живому. Не дымились трубы, не темнели избы, стлался только иссиня-сверкающий снег. Да мелкой щеткой по белизне склонов темнели леса, но и там, должно быть, было пусто и мертво — ни зверя, ни птицы, ни дыхания.

Два человека чернели среди громадной, молчаливо думающей пустыни, в кошеве¹, быстро скрипевшей по снежной дороге.

— Ню-но, милая!..

Взмахивал кнутом, дергал вожжами, и мысли и настроения у него были такие же однообразные, как эта дорога, как бело встававшие и угрюмо загораживавшие горизонт с обеих сторон горы.

Женская закутанная фигура молчаливо встряхивалась и покачивалась на ухабах. Тысячи мыслей, представлений, воспоминаний.

— Ямщик, скоро?

— Скоро, скоро, барышня, скоро... поспеем.

Усилив воли она отодвигала вздымавшиеся вокруг горы, и ей чудилась сопка с крестами, особенная, не похожая ни на одну гору в мире. И стояла она, огромная, таинственная, касаясь белой вершины небес. И черною ратью покрывают ее кресты. Они густо чернеют, как лес, молчаливыми стражами потухших жизней, похороненных страданий.

Толчок, ухабы, сани прыгают, лошади все так же помахивают думающими головами, все так же холодно искрятся ослепительные сопки.

И вдруг что-то дрогнуло, и по сверкающим отлогостям метнулась в глаза живыми пятнами красная кровь. Кто-то, гигантский, разбрызгал ее по горам, и она густо окровавила холодные снега. Глаз, отдыхая, останавливался на бледнорозовых пятнах, которые теперь казались не кровью, а нежными чайными розами. Среди мертвых морозов, мертвых снегов, среди молчащей пустыни чудные розы говорили о далекой весне, о ласке тихо сверкающего теплого моря, о благоухании томящих ночей.

И чудилось, что *он* ходит, улыбающийся, с ясным лицом, свободный, и радостно ждет ее, и розы устилают путь, душистые бледные розы. Он ждет ее, невесту свою, и больно и торопливо стучит сердце. Вырывается тихий вздох счастья, глаза полузакрыты. Полозья поют песню, тихо и радостно звучащую мелодию. Ах!..

— Ямщик, скоро ли?

¹ Кошева — санки.

— Скоро, скоро, барышня... Зараз вон за сопкой поворот... Поспеем. Все там будем, от своего не уйдешь...

Лошади попрежнему покачиваются, обдумывают.

— Ямщик, что это красное по горам?

— Багульник, кусты стало быть.

Только всего багульник. Нет роз, нет тихо поющего сверкания моря. Визжат полозья. Мороз, густой и тяжелый, лежит, иссиня-прозрачный, по лощине, по сверкающим очертаниям гор... Багульник, голые безлистные красные кусты багульника!..

Все просто, все так же страшно просто, как там, в России, как в эти два года в сибирском городке, — все просто, все на своем месте. Здесь стоит тот же железный порядок, которому подчинена вся жизнь.

— Вот и Акатуй!

Он показывает кнутом.

Она приподымается, она впивается горячечными глазами, впивается мимо полуразвалившихся почернелых, как загнившие грибы, избушек нищей деревушки, впивается в сопку.

Но это самая обыкновенная, ничем не отличающаяся от других, занесенных снегом сопка, и десятков крохотных, игрушечных, покосившихся, полусгнивших, полуупавших крестов едва чернеет. Так просто, так обыкновенно и так страшно. Звон цепей, бледное, исхудалое, обросшее лицо... Все на своем месте, все в железном порядке.

Она тяжело вздыхает.

На самой вершине, вырезываясь на морозном небе, белеет благородный мрамор, в последних лучах золотится крест. Не памятник ли это бескорыстным порывам, не напоминание ли, что человеческое великодушие, любовь, самопожертвование молчаливо хоронятся в немой, холодной, равнодушной пустыне жизни?

Показывает кнутом:

— Барин-похоронен, декабристом прозывается.

Полуразвалившиеся слепые избушки позади. Вот и дом начальника тюрьмы — свежий сруб, новая тесовая крыша.

Дальше в полуверсте рядами заостренных бревен смотрит в небо палисад тюрьмы. Едва видна из-за него длинная неуклюжая, приземистая крыша, как чернеющая

спина допотопного животного, в тяжелых лапах которого в муке бьются люди...

Так просто, так обыкновенно!..

— Господина начальника нету дома, они уехали. Они будут завтра утром. Вы пожалуйста в комнаты, я зараз белую самовар поставить.

«Ведь он здесь... здесь... всего сто шагов...»

И ей хочется рвануться, броситься, бежать туда, кричать из-за палисада, но вместо этого садится за накрытый стол и берет чашку горячего дымящегося чаю. Женщина с круглым лицом в темном платье стоит возле, сложив руки и не спуская глаз с гостя.

— Гляжу я на вас, из России вы... Как-то там теперь?.. И-и, боже мой, хоть бы одним, одним глазком посмотреть...

Слезинка тихонько сползает по щеке.

— Вы давно здесь?

— Четвертый год.

— Что же вы стоите? Садитесь.

— Нет, я постою... Нас презирают на таком положении.

— Вы служите?

— Нет... — она густо краснеет, — господин начальник взяли меня к себе...

И, отвернувшись и глядя в уже чернеющее густо надвигающейся ночью окно, говорит:

— Я — уголовная... Такое положение... Никуда не денешься.

А самовару все равно, он бурлит, бросает клубы пара или начинает петь тоненько и однотонно. Женщина стоит, темная, печальная, покорная. В комнате светло, уютно. В срубе стреляют бревна — на дворе крепчает мороз.

— Мальчонка у меня остался там, в России... Как забирали, трех годов был... «Мама, мама!..» Лапает ручонками... — Она рассказывает с тихой, сдержанной страстью, с затаенной дрожью. — Румяный, чистое яблоко... Бывало, ночью проснется, лап, лап: «Мамка, ты тут?..» — «Тут, тут...» — Прикорнет и опять заснет, только носиком так легонько подсвистывает: ти-и, ти-ти...

Часы бьют шесть, потом семь, а глухая ночь давно уж тянется, давно тянется под этот тихий печальный рассказ о далеком мальчике.

Самовар убрали. Темная женщина приготовила постель, пожелала покойной ночи и ушла. Девушка одна ходит по комнате. В срубке стреляют. Тут, сейчас за темной — *он*, милый, усталый, ждущий покоя... И сопка с маленькими покосившимися черными крестами ждет...

— Ах, ничего, ничего не выйдет!..

Хрустят тонкие пальцы.

В тоске, в смертном томлении она мечется. Все то же.

Набросив платок, осторожно и тихо выходит в темные морозные сени. Промерзшие окна глядят фосфорическими пятнами. Тишина, пропитанная тьмой и морозом.

Тихо полуотворила наружную дверь. По ногам тянет леденящий холод. Напрасно силятся глаза пробиться сквозь стену тьмы — непроглядная, она стоит непроницаемо. Невидим, но осязается потонувший в морозной тьме палисад, там — люди, там — *он*.

Зубы стучат неудержимой мелкой дрожью, трясутся колени, заоченели ноги, застыли руки, льется морозный холод, а она все стоит и глядит во тьму сквозь щель приотворенной двери. Попрежнему мертво-тихо.

Тянутся минуты, может быть часы, она не знает.

Нарушая густоту мглы, в черной глубине ее шевельнулось живое желтое пятно. Колеблюсь, тусклое и мутное, как зарождающаяся жизнь, оно неровно и тихонько передвигается, и нельзя сказать, вперед, или назад, или в сторону.

Девушка, крепко вцепившись окостенелыми пальцами в холодный косяк, не спускает глаз с колеблющегося желтовато-мутного пятна. Кругом мертвенная пустота и первозданный холод, там — трепетный зародыш жизни и дыхание. И она с замиранием сердца следит — вот-вот потухнет.

Кончено... мрак, пустота, холод...

Снова слабо брезжит и желтовато колеблется и борется с надвинувшейся отовсюду черной слепотой ночи.

Теперь ясно можно различить: неровно, несмело подвигается сюда. Только отчего с такой болью, с такой смертной мукой толчками бьется сердце?.. Если бы перестало биться, если б потухла тоска!..

Огонек лучится, и по снегу скользит желтовато озаренный кружок.

Люди.

Никого не видно, но нет сомнения — они идут сюда. Дозор, или патруль, или идут с докладом к помощнику.

Огонь фонаря от ходьбы колышется, прыгает, нервно скользит светом по снегу. Скрипят шаги. Ближе и ближе.

Впереди вырисовывается чернее мглы фигура. Покачивается на ходу тяжело и злобно. Лицо, грудь, ноги и руки выступают плоской чернотой, точно вырезаны из картона. Но сзади фонарь освещает серую спину, затылок, мохнатую папаху и колыхающийся на плече, поблескивающий штык. Второй идет такими же большими тяжелыми, сердито топчущими скрипучий снег шагами. В руках фонарь. Свет его старается все заглянуть в лицо, должно быть угрюмое, в глаза, должно быть суровые и мрачные, но никак не может достать и только скользит по серой груди шинели, по вспыхивающим пуговицам, по обшлагу рукава.

Третий...

— А-ах!!

Крик, пронзительный, звенящий, вырывается из груди ее, колышет холодную густую мглу, разносится среди ночи, будит спящих, зажигаются огни, бегут люди... нет — это беззвучно шелестят сухие губы, как свернувшиеся от мороза листья, и кругом мертво и черно.

Он идет, слегка нагнув голову, и как раз таким, каким она его не могла себе представить, — в длиннополом арестантском халате, с обросшим бледным, исхудалым лицом. Милые, знакомые, незабываемые черты. И чтоб помочь ей, фонарь, колеблясь, взглядывает временами ему в лицо желтым пятном... нос с горбинкой, грустные усталые глаза...

Она впиивается ногтями в прокаленное морозом дерево... Жених идет к невесте, розы алеют по сверкающей белизне, поет тихое сверкание моря о благоухании томящих ночей... Нет, это слегка позванивает железо кандалов, и она поддерживает их рукой.

Из-под ногтей брызжет кровь...

Они проходят в двух шагах от крыльца, верно, слышат биение ее сердца, проходят так мучительно близко, что она кричит: «Милый!» Нет, это крик истерзанной души, истомленного любящего сердца, а губы только шелестят, как свернувшиеся от мороза сухие листья: «Я — здесь...»

Они останавливаются во тьме, шагах в десяти, стран-

ной таинственной группой, и фонарь, шевелясь, выдвигает из тьмы то руку, то бородатое лицо, то ружейный приклад, придавая еще больше фантастичности этим людям, так таинственно вне тюрьмы в неурочный час стоящим среди чуть мерцающего снега.

Подняли фонарь, и, скользнув в темноте, легла полоса света по смутно уходившим вверх столбам, и вверху были перекладины.

В щели приотворенной двери в ужасе застыли глаза... «Помогите!.. постойте!..»

Он подымается по лесенке, подобрав халат и поддерживая одной рукой кандалы, неверно озаряемый фонарем. Люди в серых шинелях сурово стоят тут же со штыками наготове, ждут... Минуты, вечность смертной тоски...*Он* вздрагивает и на секунду оборачивается по направлению застывших глаз. Все — молчание, все — тьма, потом подымается еще на две ступеньки.

Полоса света передвигается. Смутно белеют приборы в метеорологической будке.

Он спускается, и они идут назад в молчании, с неровно и скупо освещающим фонарем в том же порядке — впереди солдат, надзиратель, потом *он*, в халате, с усталыми глазами, опущенной головой, и солдат замыкает шествие. Они проходят в двух шагах от крыльца, тихо позванивают цепи. Потом фигуры становятся чернее, смутнее, сливаются и тонут в холодной черноте, только фонарь колышется и светит. Потом — смутное, неясное живое пятнышко среди океана мрака и... все.

Она перестала дрожать и стояла, не чувствуя застывших рук, ног, не отрываясь глядела в бездонную тьму, не отрываясь слушала, но было мертво-тихо.

Отдирает закоченевшие руки, дует на деревянные пальцы, тихо, с печальным морозным скрипом притворяет дверь и входит в чуждую, молчаливо освещенную лампой комнату.

Девушка ходит, ходит, ломает негнущиеся деревянные пальцы, бормочет, останавливается и долго смотрит в белесо-темное обмерзшее окно. И опять ходит, жестикулирует или падает в подушку лицом и кусает ее, чтобы заглушить рвущиеся рыдания, и все больше и больше смачивается слезами полотно наволочки.

Нельзя кричать, нельзя проклинать людей, судьбу, и она ходит, ходит. Все совершается в железном порядке, и время течет с той же железной медлительностью и необходимостью.

Одиннадцать, двенадцать... три, четыре, пять часов, все — ночь, все — тьма. И не смыкаются глаза, нет усталости, нет забвения. С железной необходимостью надо жить, надо понимать, надо чувствовать.

— Господин начальник приехали и просят вас к ним.

Брезжит мутное, промерзшее, иззябшее утро. Она то-ропливо взглядывает в зеркало и отшатывается: глядит белое, чужое лицо.

Огромное усилие, и она спешно плещет студеной водой, поправляет прическу, капризно выбивающийся бант на шее, и тогда из зеркала глядят сияющие глаза, ибо чисто омыты слезами, на щеках алеют розы тоски и надежды, и длинны печальные тени черных ресниц.

И она входит, стройная и сильная, с знакомым напряжением женского обаяния.

Начальник стоит у стола с бумагами, с солдатским неуклюже красным лицом, в мундире и с несходящим выражением строгости, непреклонного, раз заведенного порядка. Но когда она подходит, и он жмет маленькую стройную руку, и в его глаза глядят сияющие из глубины глаз звезды, и алеет на щеках румянец, к выражению на его лице, что он строг и неукоснителен по службе, что не может быть речи ни о каких отклонениях от заведенного порядка, что здесь — каторга, и это так и понимать надо, — к этому раз навсегда застывшему выражению примешивается новое: что она появляется среди этого гиблого места, как цветок среди пустыни, и что он ее внимательно слушает.

— Чем могу служить? Садитесь, пожалуйста.

«Да, я понимаю, — говорит она свободными легкими движениями, — я понимаю, здесь каторга... И все-таки я красива и молода...»

— Я здесь в качестве члена географического общества. Видите ли... Вот открытый лист.

Он берет протянутую бумагу и читает, не то удивленно, не то внимательно подняв брови. И постепенно привычное

выражение слегка меняется, и в него входит новое выражение, что и она с этого момента включается в тот неуклонный порядок, представителем и слугою которого он здесь является.

— Так-с... содействие... Но чем я могу быть полезен?

— Среди других моих научных наблюдений... мы... — она подыскивает слова, — мне поручено между прочим...

Натянутая струна тонко звучит, каждую секунду готовая лопнуть...

— ...в данный момент мне необходимо собрать данные и наблюдения метеорологических станций, такие данные, которые не укладываются в обычные цифровые отчеты... Между прочим, меня чрезвычайно интересует вопрос: производятся ли у вас глубоко почвенные термические измерения? Ведь у вас тут рудники и метеорологическая станция?

Официальное выражение понемногу сползает с его лица, глазки сделались маленькими и глядят щелочками.

«Кончено!..» — бьет молотом... Застывшая темная ночь, длинный арестантский халат, поникшая голова, усталые печальные глаза... «Кончено!..» Она опускает ресницы.

В комнате дрожит смех, раскатистый, веселый.

— А не боитесь вы ездить одна? А?

— Чего же бояться?

— Н-но... Все-таки... Нда-а. Пойдемте-ка чай пить.

Он подымается, ловко щелкает каблуками и пропускает ее вперед. Она идет, как сомнамбула, среди мерзвого холодного тумана... «Ручка земле предалась... земле, земле предалась... почернела... рассыпалась...» Ночь и усталые, печальные глаза... А на губах улыбка, в глазах звезды, и на щеках играет румянец...

— Я вам должен откровенно сказать: в метеорологии смыслю столько же, сколько сазан в библии... Хе-хе-хе!..

— Но позвольте, у вас же метеорологическая станция, и вы заведуете ею.

— Вот то-то, что не заведу, а заведует тот политический каторжанин... вечный.

Она смотрит на него широко раскрытыми глазами, как будто слово «вечный» слышит впервые и впервые понимает весь ужас его.

— Два раза в день, утром и вечером, под конвоем его водят в будку тут в десяти шагах. Так вечно и будет ходить, десять, двадцать лет...

Десять, двадцать, тридцать лет — ночь, поникшая голова, усталые глаза, фонарь...

Ей трудно дышать, но попрежнему улыбка на губах и играет румянец.

— Его превосходительство господин губернатор также в том ученом обществе?

— Как же. Подпись его вы же видели. Он — почетный член.

— А не знавали ли вы чиновника особых поручений при губернаторе, Арсеньева?

— Да, знакома... На вечерах танцовали вместе... Отлично танцует.

— Он, изволите ли видеть, сватался за племянницу моей свояченицы... С положением человек...

Они степенно и мирно беседуют об общих знакомых, о фаворитах губернаторши, и надо пить чай с печеньями, которые тут — роскошь, и нельзя сказать, нельзя напомнить о том, что наполняет все существо. Надо предоставить событиям естественному течению.

— Вы когда же думаете обратно?

— Сегодня же думаю... От вас зависит, как дадите нужные сведения. Я еще хотела спросить, не делаются ли у вас геологические изыскания при прохождении рудников...

— Но я, ей-богу же, ничего не понимаю... — взмолился полковник, подымая плечи. — Да вот я сейчас прикажу привести арестанта, заведующего... Эй, кто там?

Он похлопал в ладоши. Вошел надзиратель.

— Распорядитесь, чтоб привели номер тринадцатый... да с усиленным конвоем, — кинул он вдогонку.

Комната, окна, стены, самовар, стол куда-то далеко, далеко отодвинулись, сделались маленькими и неясными; о чем-то говорили, и голоса ее и его доносились издалека, слабые и тонкие. Надо было крепко сидеть и делать целесообразные движения, и нужно было продолжать говорить и впадать отвечать, и это странное состояние отделенности, отодвинутости от вещей, от реальной обстановки тянулось медленно и страшно.

И вдруг оборвалось стуком сапог и замелькавшими в глаза серыми шинелями.

Все произошло как-то уж очень просто. Сначала шум и топот, потом шесть пар солдатских глаз, шинели, приклады и...

Она не смеда поднять глаз, а когда подняла — в аршине от ее лица изумленно глядело знакомое, обросшее и теперь еще более исхудалое лицо, чем тогда, ночью.

Но что было самое страшное, это — смертельная белизна, которая стала его покрывать. Побелел лоб, выступили на белизне большие глаза, видно было, как стали белеть заросшие щеки, и тихо, чуть заметно вздрагивали побелевшие губы.

«Упаду!..»

И она чувствовала приторную слабость, охватывавшую ноги, руки и подступавшую к сердцу, тихо и редко бившемуся.

«Упаду, и все кончено!..»

И в смутном тумане прозвучал голос начальника. До нее дошел только зловещий звук слов, без содержания. И только секунду молчания спустя она поняла, что он просто сказал:

— Вот член ученого общества, состоящего под покровительством высочайших особ, просит дать ей некоторые указания... Садитесь.

Подвинулась по полу табуретка, и по обеим сторонам ее обвисли длинные полы серого халата, а по полу чернели плохо обметенные от снега шесть пар громадных неуклюжих сапог.

Опять несколько секунд молчания.

— Вам позволите чаю?

— Пожалуйста.

Знакомый, невыразимо милый голос. В комнате раздражающе стоит высокое торопливо звонкое треньканье. Ах, это носик чайника трепетно бьется о край стакана. Она на минуту отнимает чайник и снова пытается налить, и снова звонкое треньканье. Нет, она не может налить ему.

Она ставит чайник на стол, смотрит прямо в лицо и смеется. И он улыбается. И с обоих разом спадает удручающая, давящая тяжесть, и они начинают говорить друг с другом быстро, страстно, совершенно забыв обстановку, опасность быть каждую секунду открытыми. Они говорят о температуре, о давлении, о гигроскопических измерениях, о геологических напластованиях в рудниках, но в этом странном, причудливом, изломанном и непонятном

разговоре они говорят о солнце, о счастье, о любви, о свободе, о покинутых, о друзьях, о погибших.

Начальник закуривает папиросу и смотрит на конец своего носа. Чернеют неуклюжие сапоги, тупо, как стена, смотрят шесть пар глаз.

Мысль, что *он* — тут, возле, что она говорит с ним, слышит звук его голоса, глядит в его милые, грустно радостные глаза, охватывает ее безумием... Броситься к нему, охватить его, обнять, целовать, гладить дорогое лицо, да ведь это — закон, необходимый, ненарушимый закон мира, нарушение которого — преступление, проклятие, которое ничем никогда не стереть. И она сидит в полуаршине от него и говорит:

— Но ведь рудники прорезают же водоносные пласты?

Какая-то противоестественная сила с уродливой, бессмысленной, отвратительной головой стоит между их молодостью, их страстью, их яркой жизнью, стоит и слепо смотрит на обоих, смотрит неуклюжими черными, плохо обметенными от снега сапогами.

И в комнате звенит странный, чужой, неуместный женский смех. Это она смеется, смеется неудержимо, нелепо, понимая, что губит последние минуты. Начальник с отвислыми мешками под глазами поднимает брови, как уши у бульдога. Тупо смотрят неуклюжие сапоги.

...Снег сверкает и искрится. Он сверкает и искрится везде: по отлогостям гор, по лощине и изредка падающими брильянтами в воздухе. Сосредоточенно думают бегущие, потряхивающие головами лошади все одну и ту же думу, и визжат скрипучими голосами все одну и ту же песню быстро скользящие полозья, песню о смерти, о железе, о радости жизни, о любви, о тихом сверкании моря, о железном порядке мира, в котором всему свое место. И розы кровавеют по ослепительной белизне гор.

ЗАРЕВА

Песчаная отмель далеко золотилась, протянувшись от темного обрывистого, с нависшими деревьями, берега в тихо сверкающую, дремотно светлеющую реку, ленивым поворотом пропавшую за дальним, смутным лесом.

Вода живым серебром простиралась до другого берега, который весь отражался высокими белыми меловыми обрывами гор. И белым облачкам находилось место в глубине и синевшим пятнам неба, только солнце не могло отразиться четко и ярко и плавилось серебром по всей живой, играющей поверхности.

В синем просвете расступившихся гор золотились кресты издали белевшего монастыря. Но и монастырь отсюда кажется спокойным, молчаливым, без звучащих колоколов. Только светлые, прозрачно набегающие морщины моют золотистый песок, да чуть приметно шевелятся темные листья задумчиво свесившихся над обрывом, с размытыми весеннею водою корнями деревьев.

Ясная, светлая, задумчивая улыбка, улыбка тихого созерцания, лежит на облаках, на белых отражениях гор, на синеве неба, на серебряно-светлой, лениво-ласковой реке.

И эта тихая улыбка, эта задумчивость созерцания не нарушается присутствием человека. Даже наполовину вытасенный на отмель каюк — выдолбленная из дерева лодка — кажется не делом человеческих рук, а почерклым от времени, свалившимся с родного берега лесным гигантом, много лет лежащим наполовину в воде и ласково омываемым веселыми струйками.

И рыбацья избушка, приютившаяся под самым темным, с нависшими деревьями, обрывом, скорей напоми-

нает старый-престарый, почернелый от дряхлости и дождей гриб с наклонившейся шляпкой.

Все заморожено тихой, ласковой, неизвестной, таинственной жизнью, которою живет природа вне человеческого сознания.

* * *

Далекий слабый удар колокола донесся оттуда, где тополино, растерянно и с ненужной тревогой блистали в воздухе мелькающим блистанием золоченые кресты. Он приплыл оттуда, слабо колеблясь, стирая эту особенную таинственную улыбку, эту задумчивость созерцания, и поплыл над водой, все слабея, теряя жизнь и вместе с рекой пропадая за поворотом.

Пропала улыбка дня, — просто белели облака, мелкие обрывы, сверкала под солнцем река, и было видно, что около каюка песок был истоптан человеческими ногами, валялись чешуя, кости и рыбы объедки

Из избушки вышел человек, старый, но крепкий, с сивой бородой, крепкими морщинами, с сердито взлохмаченными бровями. Приложил козырьком черную, просмоленную ладонь и поглядел туда, где беспокойным трепетом сверкали кресты и откуда плыли все те же слабые, обессиленные расстоянием, едва гудящие удары колокола.

Шершавые усы сердито шевельнулись.

— Ну, завыли!

И, двигая бровями, как наежившийся кот шерстью, повернулся и, тяжело ступая по хрустящему песку, подошел к разостланной бечеве с навязанными крючьями и стал подтачивать их напильником и протирать сальной тряпкой, чтобы не ржавели в воде.

Рыбу он держал в плетенках, спущенных на веревке в реку, и два-три раза в неделю к нему приезжали скупщики закупать.

В праздники, когда отойдет в монастыре обедня, на той стороне, под белыми горами, зачернеют люди, забелеют бабьи платки и юбки и доплывет:

— Афиногены-ыч!..

А у него только шевелятся брови, и спокойно доделывает свое: спускает рыбу в плетенки или перебирает крючки, насаживая наживу, или наращивает оборвавшийся конец бечевы.

— Афиноге-е-ны-ы-ыч! По-да-ва-а-ай!..

Откликаются белые горы, доносит зеркало реки, шепчут нависшие деревья.

Долго сидят крохотные, игрушечные люди под белыми горами у самой воды, а у деда шевелятся сердитые брови, шершавые усы.

Покончив с последним крючком, аккуратно распустив и свернув пальцами бечеву, Афиногеныч берет прислоненное к избушке длинное узкое весло, идет к каюку и, напружившись и навалившись могучими плечами, сталкивает его со скрипучего песка на весело колеблющуюся, ждущую воду. И каюк, освободившись от неподвижной тяжести, тоже начинает шевелиться, покачиваться и легко поворачивается, точно заражаясь вольным, веселым задором.

Весело, мерно и сильно проходит, изламываясь, в прозрачной воде, и под круглым, тупым черным носом бежит стекловидный вал, далеко разбегаясь двумя морщинами.

А солнце уже высоко, и нет расплавленного серебра,— синяя река, синее небо,— и только в одном месте безумно ослепительно играет и колеблется нестерпимый блеск.

Уже слышны голоса, говор и смех, но люди еще маленькие, еще не отчетливы промоины, расщелины обрывов,— по воде далеко слышно. Вот и белые отражения гор задрожали под каюком, заволновались, запрыгали, уродливо вытягиваясь и расплываясь. Ближе и ближе...

Каюк мягко насовывается на берег. Люди толпятся, торопясь поскорее забраться в колышущуюся под ногами, живую, вертучую лодку, а Афиногеныч сердито подымает весло.

— Куды-ы! За перевоз подавай... Не пущу... Куды лезете? Перевернете, идолы березовые!

Развязывают затянутые узелками уголки платочков, достают кисеты.

— Афиногеныч, я те отдам после... Вот как перед господом, отдам.

— Ну, после и перевезу.

— Да что ты, зверь лютый, утроба ненасытная, пропасти на тебя нету. Никогда копейки не поверит... Жри, чтоб ты подавился!

Старуха-нищенка низко кланяется и причитает:

— Смилуйся, государь ты батюшка, пожалей старуху ледащую!.. Только и подали на паперти три копейки... на цельную на неделю.

— Подавай, сказываю! А нет, так отчаливай... Неколи мне тут с вами тары-бары растабарывать.

Нищенка торопливо роется, моргая красными, слезящимися глазами, подает деньги и лезет в колышущуюся, зыбкую лодку. Афиногеныч суров и неумолим. И только когда все отдали по копейке с рыла, он наваливается на весло, отталкивается от берега, и опять впереди бежит, разбиваясь, стекловидный вал, и зыблются отражения.

В лодке стоит говор, Афиногеныча ругают и живодером, и сквалыгой, но добродушно, — и он, как будто речь не о нем, сосредоточенно бурлит живую, игристую воду веслом. Вода у самых бортов бежит мимо, лодка загружена, и все сидят смирно, цепко держась за влажные, скользкие края, — при малейшем движении вода хлынет и наружу вывернется круглое черное дно. Белые горы позади все ниже, а навстречу бежит золотистая отмель, свесившиеся деревья, почернелая избушка.

На другом берегу все весело выбирают на песчаную отмель и гурьбой направляются в деревню. Выбирается и старушонка со слезящимися глазами. Афиногеныч аккуратно прилаживает на берегу каюк, ставит весло и, обернувшись, неодобрительно и сурово смотрит вслед плетущейся нищенке. И говорит:

— Ну, куды пошла? Не успеешь с голоду сдохнуть!.. Поспеешь.

Та в недоумении останавливается. Он нагибается над плетенкой и начинает выбрасывать на облипающий ее песок трепещущую рыбу.

— А?.. — растерянно говорит старушонка.

— Сулка...¹ Уха из нее добрая... Ребятишки-то знают, как вылебать... Вот те карасиков, тоже хорошо в уху... Стерлядок...

Старуха, попрежнему растерянная и радостная, набирает полон подол живой, ворочающейся рыбы и униженно кланяется.

¹ Сулка — рыба, судак.

— Спасет те Христос, касатик, мать пресвятая богородица...

— Ну, ну, ступай, ступай! Всем одинаково кланяйтесь — и кто дает, и кто в шею бьет.

Афиногеныча недолюбливают и сторонятся, но когда собираются в монастырь, идут к нему, чтобы не делать большого крюка на паром. Хмурый и молчаливый, он перевозит.

Иногда усядутся у обрыва под деревьями посидеть и передохнуть.

— Привел господь, сподобился отстоять утреню и обедню. Дюже хорошо отец Паисий ноне говорил, до слезы даже: любите, грит, друг друга...

— Пели нонче уж хорошо.

— Чисто андельскими голосами.

— Энто, как сделает чернявенький: о-о-о... у-у... а-о-о...

Мужик перекошил лицо, сделал рот круглым и заскрипел на всю реку. Низко летевшие чайки шарахнулись. А Афиногеныч:

— Это ангелы так поют?.. А потом, вчерась вечером, — хмуρο говорит он, ни к кому в особенности не обращаясь, — пятерых бабенок перевозил... для монахов... на святое дело... Ядреные бабенки...

Все хмуρο замолкали. И как-то иначе глядели горы, отмель, иначе золотились кресты. Но потом вскипало раздражение, и с слегка вспотевшими лицами ему кидали злобно:

— Глядим мы на тебя, Афиногеныч, не то ты богопротивник, не то ты беспоповник, не то бусурман, — лба не перекрестит, так бесперечь и живет, ни ему праздники, ни ему воскресный день.

Старик хмуρο копается и говорит:

— Рыба вон ходит в воде, тоже праздников нету... — И перебивая самого себя и усмехаясь: — Был я молодой и крепкий, были у меня товарищи. Знали мы праздники. Бывалыча, как праздник, народ перепьется, как свиньи, в грязь рылом тыкаются — потому в праздники полагается скотиной ходить, перепьются, — ну нам праздник: забремся в церкву да кружку-то и опорожним... Праздник!

На него сыплются ругательства:

— Нехристы!

— Святотатец!

— Иуда-предатель!

— Известно, ты конокрад, вор и душегубец. Удивление, как господь тебя терпел! Одного тебе надо было — кнутовище в зад. Рыба!.. Да ты хуже рыбы, хуже скота бессловесного! Богопротивник. Церкви даже божи не жалел, что же уже после того... Одно слово — животная!

Было что-то, что упруго сдерживало раздражение. Ведь его надо было избить, изувечить, спустить связанного в воду... Его ругали, а он рассказывал:

— Верно, промышлял лошадьми, с товарищами... Жрать надо было, не святой Антоний, утроба требовала хлеба и протчего... Промышлял.

И, опять рассмеявшись каким-то своим мыслям, продолжал:

— Под весеннего Миколу к помещику забрались. Конюшня каменная, крепкая. Замок никак не свернем... Ах, ешь ты мухи с комарами! Зачали возле притолоки стену разбирать. Разобрали — ан в стене железный болт заложен, лошадь-то не пройдет, не подогнется. Что тут делать? Скоро светать... А конь — аглицкий жеребец, для приплоду, тысяч десять, а то и больше стоит. Влезли в конюшню, наклали досок на тарантас, с тарантаса — на сеновал, завязали коню глаза, ввели на сеновал, а в барское окно — трах! камнем. Выскочили с ружьями, с револьверами к конюшне — стена разобрана. Отомкнули двери, открыли — коня нету. Хлопают об полы, дивуются, как лошадь могла под болт пролезть, — стало быть, на колени стала. А мы лежим на сеновале да слушаем. Зараз нарядили погоню человек десять с ружьями, и пан с ними, и залились в степь, — больше, дескать, некуда. Ну, мы подождали трошки, наклали опять досок, свели коня, вывели через двери, прихватили с базу двух мерингов да помаленечку и уехали в другую сторону.

Шершавые усы и брови шевелятся.

— Гореть тебе в печи огненной!

— Го-о-о!.. Ничего, проживу, еще вспоминать будете.

Они хмуро и раздраженно уходили, ругая его, но с странным ощущением, что — да, будут вспоминать, будут его вспоминать. Чем? И мешались в душе неприязнь и раздражение с странным чувством глухого и смутного удивления перед этим человеком.

Попрежнему каждый день загоралась зорька над лесом, загорались кресты в монастыре, а вечером за поворотом, отражаясь, потухал красный закат, но долго в сумерках белели стены монастыря.

Уютно чувствовалось Афиногенычу на его пустом, безлюдном берегу. Одни у него были разговоры — с немymi рыбами, которые его хорошо понимали, и он их отлично понимал. Да чайки вели с ним деловые сношения, постоянно летая и подбирая остатки рыб. Для них у него находилась добродушная шутка, улыбка из-под жестких усов; для людей оставались колкие, язвительные, насмешливые слова. И ничто его не связывало с людьми.

— Афиногеныч, — говорили ему, — и живешь-то ты не по-людски: ни у тебя роду, ни племени, ни семьи, ни у тебя детей...

А у него шевелились усы и брови.

— Будет того, что вы щенков плодите... перво-наперво, чтоб половину с голоду уморить, а которая остатняя половина подыметя, будет заместо вас скотиной в ярме ходить.

И было все одно и то же: река, лес, дальний поворот и в синей расщелине белый монастырь. Старик в тени обрыва плетет сети, и тихо моет вода отмель, тихо шепчутся нависшие деревья, беззаботно реют ослепительно белые чайки. Точно все отодвинулось кругом — и города, и деревни, и людское горе, и прошлое, и молодость. Тихо, спокойно, задумчиво. И сеть, ложась на песок тонкой сквозной тенью, шевелится, непрерывно растет новыми кольцами.

Думает ли Афиногеныч о далекой молодости, рвущейся неизбытыми еще силами, о борьбе одного против всех, рад ли ласковому солнцу, воде, безлюдному берегу, таким же старым, как и он, деревьям, тоже с подмытыми, свисшими корнями, или просто внимательно следит, чтобы правильнее цеплялись друг за дружку новые глазки?

Ночи приходили такие же ласковые, тихие и задумчивые. И не то маячили на той стороне горы, не то это только казалось. Неподвижной темнотой темнела река, или совсем ее не было, и был провал, бездонный и разверстый, и будто стояла вдоль реки густая караулящая таинственная тень.

У потонувшей избушки слабо краснеет, шевелится костер, такой же древний от века, как эта ночь, и в ней невидимая река, такой же одиноко брошенный, как этот старик, у которого сердито шевелятся брови и усы на красном, отсвечивающем лице.

Потом костер засыпает — и нет старика, нет гор, нет реки.

Из города приезжали скупщики. Они были проворные, ловкие, плутоватые, расчетливые. Торговались, били о полы, по рукам, и пахло от них уснувшей рыбой, лавками и городским духом. Но Афиногенч был с ними угрюм, малоречив и упорен, как заноровившийся конь. Назначал цену и уже не сдвигался, как глинистая глыба у обрыва. А раз, когда особенно настойчиво предлагали низкую цену, вывалил на их глазах в реку целую лодку живой, трепещущей рыбы.

И долго они грозили ему кулаками, и разносилась скверная крикливая брань по реке, по берегу.

* * *

Раз пришел сюда кучками измученный, оборванный, исхудалый, с ввалившимися щеками, деревенский народ. Шли в город — либо на суд, либо садиться в тюрьму, либо хлопотать о пропитании. Садились, выставляя под жгучее солнце костлявые босые потрескавшиеся ноги, почернелую ввалившуюся грудь, сидели и ковыряли горячий рассыпчатый песок.

— Мочи нету! Край — больше некуда. Скотина попадала, избы раскрыты, ребятишки мрут.

Старик шевелил усами и как бы нехотя бросал:

— А вы бы того... к Паисию... он убогаторит: стало быть, любите ближнего и прочее.

— Край пришел! Все одно — ложись помирай.

— У него теперь брюхо-то понадбавилось. Землицы-то они подкупили округ вашей деревни вплоть до Ольхового Рогу... Свечечку подите поставьте.

Белел монастырь.

А деревенские ныли.

— Больше некуда. Край. Нету мочи!.. — заунывно стояло над тихой рекой, как припев вековой, никогда не смолкавшей песни.

А старик говорил, накидывая слова, как новые петли в сети, которую вязал:

— Было нас трое о ту пору, молодые. Вывели мы у богатея, — всю округу держал в кулаке, — вывели тройку: дорогая тройка. Да не успели — нагнали у реки. Я успел в камыши, сижу в воде по горло, а товарищей сцапали. Сбежалась вся деревня. Богатей кровью весь налился, лютый ходит, зверь-зверем. «А-а!.. Бейте в мою голову!..» Подступились мужики. Товарищ стоит, руки скручены назад, по лицу кровь. И поднял голову и говорит: «Братцы, сами знаете, никогда ни одного мужика не тронули, жеребенка не взяли, заимствовали мы только у богатея. Сосут они из вас кровь... Ужли ж за них заступитесь, сами себя по ногам бить будете?..» Насупился народ, глядит в землю, чешут в затылках. Екнуло у меня сердце. Уже совсем поднялся я из камыша, к ним, то есть к мужикам-то: «Дескать, братцы, вместе страдаем, одна у нас чаша горькая». Да мироед как заревет: «Али не видите — конокрады, душегубы!.. Бейте в мою голову! Три ведра водки ставлю!..» Зашатался народ, зашумел. Вдарил кто-то товарища колом, свалили и зачали... Цельную ночь сидел я и глядел, не отрывая глаз, а они били, они измывались, они мучили. Не признаешь за человека, а они всё молотят по мясу, по красному мясу, во тут, передо мной, рукой подать...

Старик передохнул и глянул красными глазами.

— Цельную ночь глядел... Ушли. Вылез, постоял над товарищем, — говядина красная, боле ничего. Пошел, как пьяный... А после того восемь раз сжег деревню. Из тюрмы, из Сибири бегал. Прибегу и сожгу... Все разорились. В восьмой раз как сжег, разбрелась вся деревня, одни головни остались... А теперича и место то запахали, ничего нет.

Все так же белел монастырь, стояли горы и за лесом пропадал поворот реки. Оборванные люди сидели, подняв острые колени и раскапывая горячий песок.

Лохматые, нависшие брови грозили кому-то, приподнялись. И старик вдруг злобно бросил:

— Мало с вас шкуру спускают!

У тех тоже блестят озлоблением воспаленные глаза.

— По две дерут с каждого.

— Мало!.. По три, по десятку надо, мясо с вас спу-

скасть, в плуги запрягать, да чтоб тут же, на меже, падали и дохли, — может, тогда хоть за ум возьметесь...

— Не лайся, не собака.

— ...Может, морду от земли подымете.

— Ты лучше перевези нас, Афиногеныч.

Старик разом успокаивается и брезгливо обегает их из-под насупленных бровей.

— По копейке с рыла.

— Побойся бога! Не емши целый день, падем не то где на дороге... Десять верст крюку на паром-то, не дойдем.

— Даром не повезу.

— Христа-ради!.. Сделай божецкую милость... Ни гроша за душой ни у кого.

Старик молча отворачивается и спокойно принимается за работу, как будто он один. Те обступают, униженно кланяются, просят, голоса становятся хриплее, крикливее.

— Чего на него смотреть! Спихивай каюк!..

Они берутся за лодку, озлобленные, кричащие. Старик, как гигант, размахивает веслом; удары сыплются на головы, на обожженные костлявые плечи. Весло раскаляется, и куски летят, сверкая свежей древесиной. Старик схватывает небольшой якорь с растопыренными лапами, и он гудит в воздухе в дюжих руках.

Все кидаются в разные стороны.

— Тю... Объялся белены!.. Зверь бешеный!..

Он смотрит на них, как на побитую собаку:

— Сволочи! Дохлое мясо! Вонь от вас стоит, мир только гноите...

А они идут вялой, шатающейся походкой. Идут, и солнце жжет сквозь рваное тряпье почерневшее тело, и накаленный песок палит истрескавшиеся ноги, и река нестерпимым блеском слепит воспаленные ввалившиеся глаза.

* * *

Реже и реже перевозил Афиногеныч богомольцев. Придут бабы с изборожденными вековой усталостью лицами, с покорными глазами, в которых стоит один и тот же, непонятный для них самих, от века безответный вопрос. По целым неделям — никого. Редко когда приплетутся мужики.

По большим праздникам приваливала молодежь. Но они не переезжали на ту сторону, а приносили с собой водки, лускали семечки, играли на гармонике, пели песни, и над тихой рекой неслись крики, смех, крепкие слова и брань.

Собственно, Афиногеныч ничего не мог им дать и не обращал внимания на их шумную компанию, но его отрывочные, несвязные рассказы о прошлом, о буйной, непокорной молодости, едко и зло оброненные замечания собирали около него кружок.

И из толпы вытягивающих вокруг него шеи парней слышалось:

— Двоих наших лесники убили... порубщиков.

— Десятин сто его, лесу-то...

И все глядели на сумрачный монастырский лес, темной густотой выделявшийся у светлой реки.

— Придет черед...

— Погреем руки...

— Все одно — это не жисть... Одинаково пропадать — тут или на каторге.

— Из каторги каторга не страшна.

— И-и, милые мои, — говорил старик, — чего ерепенились? Али плохо овце, как с нее шерсть стригут?..

...Побывал как-то у Афиногеныча и никогда не бывавший дотоле гость — монах, черный, с бородой, с светящимися маленькими пронизывающими глазками, в скуфье.

Старик тесал новое весло, а монах стоял и глядел подозрительно и враждебно.

— Ты что же это, али басурман?

— А что?

— Ни тебе благословения, ни тебе креста не надо?

— Замучились вы и без того, сколько наблагословляли кругом. Надо и вас пожалеть — вишь, жиру-то у тебе от благословения наперло.

Монах пододвинул обрубок, сел, опустил глаза и молчал, и лицо его было холодно и жестко. Потом заговорил:

— Напрямик тебе скажу: все знаю.

— Тебе так и полагается — во святом месте живешь.

— Все знаю, и давно. Отец игумен велел доложить полиции в городе, чтоб убрали, а я упросил: пушай грехи замаливает, пушай живет. А ты что же это делаешь? В благодарность народ мутишь?

— Мутного не замутишь.

— Ну так вот тебе сказ: ежели еще хоть раз дойдет, что ты смутьянишь народ басурманскими речами, — сейчас же позовем полицию, и крышка тебе!

Топор, тихонько тюкая, заворачивал тоненькую стружку. Старик молчал. Потом опустил топор, усы шевельнулись.

— Кто же бабьят вам будет перевозить? Тоже на паром округ не всякая захочет киселя хлебать...

И опять топор затюкал, заворачивая тоненькую стружку.

Маленькие глазки монаха забегали огоньком, потом опять глядели холодно-враждебно, и лицо было спокойное и жесткое.

— Хулу возводят на ангелов господних, не токмо на иноков, а только ежели ты...

— А... самим вам заводить перевоз не покажется зазорно? Вишь, я вам и пригожаюсь. Ну, полиция-то станет брать, что ж, придется обсказать, как Марьянку-то вытащил из воды, бросилась топиться... Чай, знаешь?

Чернец побагровел и ринулся к деду:

— Т-ты... старик!

Потом сдержался и холодно проговорил:

— Язык-то попридержи, старина, попридержи. Даром-то тебе не пройдет...

И пошел, черный и грузный, тяжело вытаскивая ноги из песка, пошел к лесу.

* * *

Лето было сухое и жаркое, и, должно быть, от суши по ночам стояли зарева.

С вечера небо бывало бархатно-черное, а к полуночи начинало заниматься, сначала смутно и неясно, а потом разрасталось, и из-за леса глядело зарево, багровое и колеблющееся. Было молчаливо-зловещее в его мертвом шевелящемся взгляде.

А потом понемногу тускнела чернота в другом месте, и смутно нарождался красневший отсвет, и разрастался, и глядел из-за черного края, багровый, мертвый и шевелящийся.

И потонувшие среди ночи горы, и невидимая река, и глухой лес, и монастырь, который стоял во мгле, и слабо

пльвшие по темной воде глухие темные звуки колокола — все казалось слабым, маленьким и ничтожным перед этим немым, багровым, стоявшим на небе ужасом.

Черное небо пылало в разных местах, но здесь, внизу, попрежнему было немо, неподвижно, молчаливо, темно и жутко.

Старик много раз вылезал за ночь из избушки, и его темная фигура долго чернела среди молчаливой ночи перед молчаливо, зловеще, ничего не освещая, глядевшим заревом.

Вставала ночь далекого прошлого... Бушевал ураган огня, носились освещенные галки, голуби, дико ревели, задыхаясь в дыму, скотина, метался обезумевший народ. Огонь пожирал, извилисто облизывая, избы ласково-provорными светящимися языками, и зарево охватывало полнеба, но в овраге, где он сидел, глядя из-под насупившихся бровей приподнятыми очами, было темно и немо, как здесь.

Старик глядел на эти неподвижно стоявшие багровые зарева из-под насупленных старых бровей и приговаривал:

— Ага, монастырские экономии полыхают... Дòбре, дòбре, ребятки! «Тогда не осталось камня на камне, и самое место вспахано...» Дòбре, ребятки!..

* * *

Раз старик спал чутким сном, и кто-то сквозь сон толкнул: «Скорее!..»

Он вскочил, выбрался. Насторожившаяся ночь темна и тиха, в разных местах зловеще стоят зарева. Он нагнул голову, прислушался — никого. Смутно темнел обрыв, над ним деревья.

И, отвечая предчувствию и темному ожиданию, хрустнул одинокий звук наверху, в лесу. Упала ли веточка, прокрался ли заяц, или шарахнулась неуклюжая сова... Опять повторился. Захрустело, затопало. Кто-то бежал, приближаясь торопливо. Посыпалась глина. Мелькнули фигуры — один, другой... Скатились с обрыва — и в темноте перед Афиногенычем стоят два парня, тяжело, быстро и прерывисто дыша:

- Вези скорей!
- Откеда?

— Из монастырской экономии.

Слова падают коротко, быстро, отрывисто, с особенным, помимо формального, значением. И старик не спрашивает, идет к избушке, берет весло, и они спихивают и садятся в каюк. Берег темно расплывается. В носу говорливо бьется вода, бурлит весло. Лодка неподвижна среди ночи, среди реки. И кажется — это продолжается долго, бесконечно долго, и кажется — только отошли, а над головами черно нависли уже невидимые, но ощутимые громады. Лодка ткнулась о другой берег.

— Прощай, дядя!..

Опять говорит в носу говорливая вода, а лодка стоит среди темной ночи, среди темной реки, в виду молчаливого багрового зарева. Чудится — все затаилось, примолкло, потонуло в густой мгле, в чутком напряжении ожидания развертывающейся огромной немой драмы. Точно гигантская завеса кроваво вздрагивает и шевелится, охватив полнебосклона, и вот развернется, и понесутся крики, и звон, и вопли, и смятение ужаса караемых. Так было в ту последнюю ужасную ночь, когда бушующее пламя пожирало избы, скот, людей...

И была тиха темная река, темная ночь, только темное небо багрово светилось.

Вернулся Афиногеныч, вылез из каюка, вытащил его до половины, прислонил весло и забрался в избушку на сухое душистое сено.

Не спалось. Поминутно прислушивался. За плетеными стенами кто-то шуршал, ходил и хрустел сучьями над обрывом. Но когда выставлял голову наружу, попрежнему было темно, тихо, невозмутимо.

...Раз почудился как бы выстрел, далекий, глухой и зловещий, и снова тихо. Старик опять послушал: может быть, свалилось подгнившее дерево или плеснула большая рыба? Звуки, тонувшие прежде в ночной тишине, теперь странно и чутко выступали, и ухо жадно ловило.

Опять в лесу захрустело отчетливо и ясно. Слышно было — громко, смело и не таясь хрустели и ломались сухие ветки, и чьи-то тяжелые спешащие шаги отдавались по сухой, крепкой земле. Старик хмуρο улегся и не подымал головы.

Уже слышны голоса, крики и переговариванья нескольких человек.

— Да тут голову сломишь!
— Спускаться тут никак нельзя.
— В объезд.
— Да куда в объезд... Темень, зги не видать, бездорожно.

Раздалось фыркание лошадей.

— Лошадей оставим наверху. Спускайтесь сами.

Посыпалась глина, захрустел песок. В стенку раздался удар, — вся избушка затряслась.

— Эй ты! Выходи... Выходи, что ль...

— Ась?.. Кто там?

— А вот я тебе покажу.

Двери сорвались, и темное отверстие кто-то загородил. Чиркнула спичка, на секунду осветив развешанные сети, сено, старика.. И опять глянуло темное четырехугольное отверстие дверей. А за стенкой голос:

— Один, никого нет.

— Эй, вылазь!

Старик выбрался и стоял перед ними угрюмой темной фигурой. Их было пятеро.

— Ну-ка, старый хрен, давай лодку, вези на гу сторону. Тебе говорят...

— Кого зараз перевозил?

— Никого.

— Брешешь. Ну-ка, свети, Миколай.

Вспыхнул пучок сухого хвороста. Пламя трепетало, и трепетали и скользили живые тени. Казаки, нагнувшись, шаг за шагом рассматривали истоптанный песок.

— Вишь, следы, прошли только.

— Что же ты брешешь, сучий сын?

— Мало ли народу утром в монастырь к обедне переправлялось.

— Ну, ну, заговаривай зубы. Садись, ребята.

— А лошади?

— С лошадьми нехай Иван на перевоз скачет.

И, обернувшись к обрыву и приложив ладони ко рту, привычно крикнул:

— Ива-ан! Выезжай на дорогу да лупи к парому. А там выедешь, валяй к Сухой Балке, там жди.

Шарахнулась во тьме ночная птица, а с обрыва донеслось:

— Слушаю!

И стал доноситься удаляющийся ночной топот.

— Ну, ты, чортова кукла, вези!..

Они все подошли к лодке...

— Далече не уйдут... тут деться некуда.

Старик положил в каюк весло, попробовал ногой, крепко уперся в песок, навалился плечом и сделал огромное усилие разом спихнуть и далеко оттолкнуть лодку в глубокое место, вскочить и уехать. Каюк скрипнул о песок и всплыл, тихонько покачиваясь у самого берега. Нет, старик, прошла молодость, прошло время, прошла сила... Он вздохнул, угрюмо придерживая колыхающуюся лодку.

Сели. Весло бурлило в темной воде.

Афиногеныч все посматривал в темноту, в ту сторону, где был монастырь. И стало ему чудиться, что среди тьмы мутно проступают его очертания.

Пятеро тихо сидели, крепко держась за мокрые борта, у самого края которых влажно чувствовалась колеблющаяся вода.

— Ну, ты, сыч, гребн, что ль... заснул!..

И в ответ над рекой пронесся хищный крик:

— Проснулся!!

В ту же секунду темная фигура старика метнулась в сторону. С шумом бурно устремившейся через борт воды слился крик отчаяния пятерых людей. С минуту слышались всплески нечеловеческой борьбы, потом стихло.

Старик с усилием плыл. Одежда все больше намокала и тянула ко дну. Вода влажно и настойчиво вливалась в рот, руки с трудом подымались. В глазах замотались огненные мухи. С нечеловеческим напряжением, глотая страшно вливавшуюся воду, взмахнул раз... два... и перестал грести.

Река попрежнему была тиха и спокойна. Но среди ночи, среди неподвижной тьмы стали выступать залитые розоватым отсветом монастырские стены, башенки, колокольни. Стали выступать розоватые верхи прибрежных гор, как розовым шелком, чуть подернулась река, — небо пылало от черной угрюмой линии горизонта до зенита, все было залито багровым заревом.

У ОБРЫВА

I

Уже посинело над далеким поворотом реки, над желтеющими песками, над обрывистым берегом, над примолкшим на той стороне лесом.

Тускнели звуки, меркли краски, и лицо земли тихонько затягивалось дымкой покоя, усталости под спокойным, глубоко синевшим, с редкими белыми звездами, небом.

Баржа и лодка возле нее, понемногу терявшие очертания, неясно и темно рисовались у берега. Отражаясь и дробясь багровым отблеском, у самой воды горел костер, и поплескивал на шипевшие уголья сбегавшей пеной подвешенный котелок, ползали и шевелились, ища чего-то по узкой полосе прибрежного песку, длинные тени, и задумчиво возвышался обрыв, смутно краснея глиной.

Было тихо, и эту тишину наполняло немолчное роптание бегущей воды, непрерывающийся шопот, беспокойный и торопливый, то сонный и затихающий, то задорный и насмешливый, но река была спокойна, и светлеющая поверхность не оскорблялась ни одной морщиной.

Всплеск рыбы, или крик ночной птицы, или шорох осыпающегося песку, или едва уловимый шум пароходного колеса, или почудилось — и снова дремотное, невнятное шептание, то замирающее и сонное, то встрепенувшееся и торопливое, и светлый, ничем ненарушимый покой реки под все густеющей синевой надвигающейся ночи.

— «Ермак» никак идет.

— Где ему!.. Теперича, небось, на Собачьих Песках сидит...

И человеческие слова, такие простые и ясные, прозвучали и погасли в этом непонятно-беспокойном шопоте спокойно-неподвижной реки.

Короткая, притаившаяся у колебавшегося огня тень разом вытянулась, побежала от костра, уродливо перегнулась через обрыв и пропала в степном сумраке, откуда неслись крики перепелов и запахи скошенных трав, а над костром поднялся высокий, здоровенный, с длинными руками и ногами, в пестрядинной рубахе, человек и, скинув ложкой сбегавшую через края пену, всыпал в бившую ключом воду пригоршню пшена. Вода мгновенно успокоилась, а тень скользнула по обрыву, вернулась из степи и опять притаилась у огня. Длинный человек сидел, неподвижно обняв колени, глядя на светлеющую реку, на пропадающий в сумеречной дымке лес, дальний берег.

Поодаль на песке, протянувшись, неподвижно и мертво чернела человеческая фигура.

Не было видно лица.

Спал ли он, или думал, или был болен, или уже не дышал — нельзя было разобрать.

Уже потонул в темнеющей синеве и не стал видим лес, и поворот реки, и дальние пески, только вода попрежнему поблескивала, но уже черным, вороненым блеском, и звезды в ней бездонно повисли, яркие и бесчисленные.

И казалось, так и нужно, чтоб в эту синюю ночь у дремотно-шепчущей воды возле обрыва горел костер, и красный отсвет трепетал, неверно озаряя багровым светом костра высокую, нескладную, но точно выкованную фигуру человека, могуче охватившего руками колени, и неподвижную темную фигуру на песке, и третьего — с широкой бородой старика, со спокойным и строгим лицом, отлитым из бронзы.

Как будто кто-то задумчиво без слов пел, и не было слышно голоса, и только представлялась потонувшая в ночной синеве река, и костер, и смутный обрыв, и в темной глубине чуть зыблемые звезды.

— Пришло время... Жисть-то она человеческая, как трава полезла...

Голос был ровный, спокойный, медлительный, и так было спокойно кругом, что нельзя было сказать, кому принадлежит голос.

И среди ни на секунду не прерывающегося, немолчного, дремстного шопота голос, казалось, принадлежал синей ночи, как и угрюмо стоящий обрыв, как ропот воды, как костер с беззвучно ползающими по песку тенями.

— ...как трава молодая на повесень из черной земли...

— Нда-а... Теперича полезла, ничем ее не уторкаешь.

И кто-то на том берегу смутно и неясно отозвался, слабая: «...да-а-а!»

Сидевший, обняв колени, замолчал. Молчал и тот, чей темно простертый силуэт смутно рисовался на песке. Молчал старик с бронзово-багровым шевелившимся лицом, изредка лениво вбрасывая в костер голыми руками выскакивающие оттуда раскаленные угольки, и в этом молчании чудилась недоконченная дума, — думала сама синяя ночь.

Тонкий щемящий крик пронесся над рекой.

Опять тихо, задумчиво-сумрачно, снова непрерывающийся беспокойно-торопливый шорох-шопот бегущей воды. Молчал в наступившей со всех сторон темноте смутно подымающийся обрыв, молчала степь за ним. Котелок лениво вскипал, сонно подергиваясь пеной.

Тонкий крик повторился против, над рекой. Водяной играл. А может быть, летела над самой водой невидимая птица, — нельзя было сказать. Ночь теснилась со всех сторон, молчаливая и темная.

— По реке далече слышать... Хошь у самого Кривого Колена, и то будет слышно...

И оба наклонили головы, чутко ловя смутный, неясный звук. Ухо хотело поймать приближающийся шум паровозных колес, но звуки ночи, тихие, неясные, тысячу раз слышанные и все-таки особенные и странные, говорили об отсутствии человека.

Горел костер, у костра сидели двое, третий недвижимо чернел на песке.

II

Длинный поднялся, снял котелок. Тени засуетились, и одна опять скользнула вверх по обрыву и пропала в степи.

— Упрела.

Он поставил котелок и покрутил в песке.

— Часов девять есть... Охо-хо-хо...

И за рекой кто-то: «о-о-о-о...»

— Скажи парню, нехай садится с нами, — вишь, отошал.

Старик достал из кармана ложку и вытер заскорузлым пальцем.

— Эй, паря!.. Хошь, поешь с нами, — длинный наклонился над неподвижно черневшей фигурой.

— А?.. а?.. а?.. Куда... Постой... Братцы, держитесь!.. — закричал тот, вскакивая, трясаясь.

— Что ты... что ты, парень... Говорю, поешь с нами...

Тот обвел вокруг удивленным взглядом, не понимая этой темноты, смутно рисующихся контуров, этого ночного молчания, заполненного немолчно шепчущим ропотом, этого трепещущего, красноватого, поблескивающего в воде отсвета, и провел рукой, как будто снимал с лица паутину. Он точно весь обмяк и улыбнулся бессильной, измученной улыбкой.

— Ишь ты... опять попритчилось.

При свеге костра поражали исхудалость и измученность, завалившиеся щеки, черные круги, горячечно блиставшие, беспокойные, как будто глядящие мимо предметов глаза.

Сели кругом котелка, поджав на песке ноги, и стали есть и громко дули на кашу. И, повторяя движения, суетились по песку тени.

Долго и молча ели, и долго в дремотно шепчущий ночной ропот чуждо вторгался звук усердно работающих человеческих челюстей.

Первая острота голода притупилась; парень, на лице которого землисто отпечатался призрак смерти, вздохнул:

— У-ух-х!.. Маленько отошел.

И, опять улыбнувшись бессильной и измученной улыбкой, добавил:

— Два дня не ел.

— Да ты откуда?

— Из города, — и снова усталая и теперь доверчивая улыбка. — Из самого из пекла вырвался. Как и вырвался, сам не знаю...

— Да мы это догадались, как ты еще шел по берегу, — усмехнулся длинный, — да не стали спрашивать: что человека зря беспокоить.

— Не бойсь, ничего... По степи патрули разъезжают, хватают, которые успели из города убежать. Ну схватят, разговор короткий — пуля либо петля. Мы не одного переправили... Артель-то на баржах, да и команда на пароходе — свой народ... К нам вот не догадуются на баржу заглянуть, а... то бы была им пожива. Да ты в городу-то чем был?

— Наборщиком, — и он повел плечами, точно ему холодно было, и боязливо оглянулся.

Длинный черпнул, подул на ложку и, вытянув губы, с шумом втянул воздух вместе с кашей.

На реке завозился водяной или ночная птица. Всплеснула рыба, но в темноте не было видно расходящихся кругов. Старик ел молча.

— Всё по реке шел, как чуть чего — в воду... Вчерашний день до самой ночи в воде сидел, закопался в грязь, а голова в камыше, так и сидел.

Он отложил ложку и сидел осунувшись, и мысли, далекие от теплой ночи, от костра, бродили в голове, туманя глаза.

— Что было — страшно вспомнить... Крови-то, крови!.. Народу сколько легло!..

И опять боязливо огляделся и передернул, как от холода, плечами.

— Устал я... устал, замучился, и... не то, что руками или ногами, душой замучился. Все у меня подалось, как обвисло...

И он опять обвел кругом, глядя куда-то мимо этой темноты, мимо костра, реки, мимо товарищей, — точно заслоняя все, стояли призраки разрушения, развалины, и некуда было итти.

— Главное что!.. — вспыхивая, заговорил он. — Трудов, сколько трудов убито. Нашего брата разве легко поднять да вбить в башку?.. Ему долби да долби, его учи да учи, а он себе тянется, как кляча под кнутом, с голоду сдыхает да водку хлещет... Покуда все наладилось да сгрудились, сбились в кружки, да читать, да думать стали, да расчихали — ой-ёй-ёй, сколько времени, сколько трудов стоило!.. А сколько народу пропало по тюрьмам, да в ссылке, да на каторге, — да какого народу!.. Кирпич за кирпичом выводили, и вот — трраххх!.. Готово! Все кончено!.. Шабаш!..

И он отвернулся, и опять глядел, не замечая, мимо си-неющей ночи, мимо шепчущих звуков, мимо тихого покоя, которым веял дремлющий берег.

— А-а-а-а... — и он мерно качался над костром, сдавливая обеими руками голову, точно опасаясь, что она лопнет и разлетится вдребезги. И качалась тень, уродливая, изогнувшаяся, так же держась обеими руками за голову, тоже уродливую и нелепо вытянутую.

Но, обходя развалины, разбитые надежды и отчаяние, о чем-то о своем немолчно и дремотно журчали струи, чуть-чуть глубоко колебалось во влажной тьме звездное небо. Несколько хворостинок, подкинутых в костер, никак не могли загореться, и едва уловимый дымок, не колеблемый, как тень, скользил вверх.

И этот покой и тишина, погруженные в ночную темноту, были величаво полны чего-то иного, глубокого, еще не раскрытого, недосказанного.

— Глянь-ко, паря, вишь ты: ночь, покой, все спит, все отдыхает, — и голос старика был глубоко спокоен, — всё: и зверь, и человек, и гад, трава и та примялась, а утресь опять подыметя, опять в рост... Все покой, тишь... да-а!..

Над водой удалялись тонкие тилиликающие звуки — должно быть, летели на ночлег кулички.

— Да-а, покой... Потому намотались за день, намаялись, натрудили плечи, руки, лапы... во-о... И заснула вся земля, а наутресь опять каждый за свое — птица за свое, зверь за свое, человек за свое. Только солнушко проглянет, а тут готово — начинай снаизнова. Так-тось, паренек...

Долго стояла тишина. Рабочий, сутулясь и подняв голову, глядел на дымчатую дорогу на небе. Длинный уписывал кашу.

— Дедушка, — болезненно раздался надтреснутый голос, — да ведь все наутро проснутся, а энти, которые в городе лежат, ведь они-то уж не подымутся.

— А ты ешь, паренек, ешь, — говорил старик, вытирая ладонью усы и бороду. — Да-а... мужичок, хрестьянин, вышел пахать... Вспахал. Вспахал, взял лукошко и зачал сеять. Высеял, заскородил, дожидчик прошел, и погнало из земли зелена, погнало, словно те выпирает. Да-а, радуется хрестьянин. Нашему брату что: вспахал, посеял, собрал и сыг. Да-а. Колоситься зачало. И вот, откуда ни

возьмись, туча, черная, пречерная. Вдарила грозой, градом все дочиста сравняла: где хлеб был — одна чернота. Вдарил об полы сердяга! Что же, думаешь, бросил, руки опустил? Не-ет, ребята-то бесперечь есть хотят. Пошел на чугунок, на чугунке стал зарабатывать. И отрежь ему колесами ноги. Поболел, поболел и богу душу отдал. Что же, думаешь, тем дело кончилось? Не, слухай, парень. Нивка его не осталась сиротой, зачали ее пахать да сеять братаны да зятья. Опять пробилась зеленя, опять стал наливаться колос. И сколько ни изводили мужика — и на войну-то его гнали, и по тюрьмам гноили, и нищета давила, и с голоду пух и помирал, — а каждую весну зеленели нивы, да-а...

Он помолчал.

Стояла сама себя слушающая тишина.

А?

И кто-то, внимательный, полувопросом, полуутвердительно отозвался из-за реки: «а-а-а!..» Наборщик молча стал носить из котелка.

— Ишь, звезда покатила, — проговорил длинный и рыгнул.

— Так-тось, братику... Сколь ни топчи траву, она все распрямляется, все тянется кверху... Глядим мы на тебя давеча: идешь ты, ковыляешь, глядишь исподлобья, и кажут тебе вокруг только вороги, и к нам ты подошел — и нас боишься. А мы смели давно, что ты за птица, да я Митюхе говорю: «Не трожь его, пушай обойдется». Ан вот теперь и оказалось... Вона у нас, — старик мотнул головой на баржу, — чего хошь, в каждой деревне выгружаем. Пушай народ любопытствует, пушай трава выпрямляется... Охо-хо-хо!..

И за рекой: «хо-хо-хо-о!..»

III

— Да вы чего тут стоите, дядя?

— На перекатах, вишь, не проходят баржи, глубоко сидят, а река нонче рано обмелела, так пароход часть отгрузил и пошел через перекаты. Потом вернется, с этой баржи снимет часть груза и поволокет.

Наборщик лениво лазил в котелок. И вдруг мягко, с улыбкой, огляделся кругом. И впервые увидел тихую, молчаливую, задумчиво-спокойную ночь, тонко дрожащие в глубине звезды, дремотный шопот невидимо бегущей воды. Глубоко вздохнул и проговорил:

— Ночка-то!..

Усталость, мягкая, зовущая ко сну и отдыху, овладевала.

— Теперь хоть и вздремнуть бы — две ночи глаз не смыкал.

— Погодь трошки, махотка с кислым молоком еще есть.

И длинный лениво поднялся, вместе со своей тенью прошел к лодке, покопался и, держа в руках небольшую миску, вернулся и сел. Тень тоже подобралась на свое место.

— Ну, ешьте. Доброе молочко.

В неумолкаемый ропот бегущей воды, который забывался, сливаясь со стоявшей вокруг тишиной, грубо и непрошенно ворвался чуждый звук. Был неясный, смутный, неопределенный, но разрастался, становился отчетливее и наполнял ночь чем-то, чего до сих пор не было.

Трое повернули к обрыву головы и стали слушать.

И костер, дрожа и колеблясь отсветом, беспокойно взглядывал красными очами на выступивший на секунду из темноты обрыв. Тени торопливо и испуганно сновали по песку, ища чего-то и не находя, с усилием вытянулись, перегнулись и заглянули через обрыв в степь. Оттуда, все приближаясь, неслись дробные, мерно топочущие звуки.

Ближе, ближе... Чувствовалось, что там, наверху, иссохшая, крепкая и звонкая земля.

Костер, истратив последние усилия и догадавшись, в чем дело, стал погасать, засыпая и подергиваясь пеплом, и тени разочарованно расплылись, сливаясь со стоявшей вокруг чернотой, но головы все так же были обращены к обрыву.

Топот оборвался. Над ровно обрезанным по звездному небу краем обрыва темно вырисовывался уродливый силуэт чудовища. Оно неподвижно вздымалось, широкое и неровное, как глыба, оторвавшаяся от горы, загораживая ярко игравшие звезды.

Несколько секунд стояло молчание, поглотившее все звуки ночи.

— Эй... Что за люди?

Голос сорвался оттуда хриплый и грубый, и за рекой хотя и глухо повторили его.

— А тебе что?.. — лениво и небрежно бросил длинный, таская ложкой молоко.

— Что за люди?! Мать... — и грубая ругань оскорбила насторожившуюся ночную тишину.

Длинный по-медвежьи, неповоротливо поднялся.

— Чего надо?.. Ступай... отчаливай... Неположенного ищешь...

Костер осторожно глянул из-под полуспущенного красневшего века, и на минуту можно было различить над самым обрывом в красноватом отблеске конскую голову и над ней человеческую и рядом еще конскую голову и над ней человеческую. В ту же секунду блеснул длинный огонь и грянул выстрел, и, негодуя, понеслись по реке, по лесу, будя ночную тишь, рокочущие отголоски, долго перекликаясь и угрюмо замирая.

И уже не было тихой ночи, ни темной реки с дрожащими звездами, ни дремотного шопота, ни обрыва, ни смутной степи, откуда неслись крики перепелов и медвяные запахи скошенных трав. Стояло тяжелое и жестокое в своей бессмысленности.

— Казаки!.. — шептал наборщик, поднявшись. — Прощайте, побегу...

Старик придержал за руку:

— Погодь...

— Ничего...

— Не пужай... не из пужливых... А вот только кого-нибудь зацепишь версты за три, за четыре позадь леса, неповинного, — так это верно... Пуля-то куда летит... Сволочи!.. — длинный тяжело и злобно погрозил кулаком.

Костер снова подернулся пеплом, и темные силуэты над чернотой обрыва шевельнулись, стали делаться меньше, понижаясь и прячась за край.

Звезды снова играли, не беспокоемые, из степи неся удаляющийся, замирающий топот, оставляя в молчании и темноте неосязаемый след угрозы и предчувствия. Напрасно торопливый, бегущий шопот воды старался

попрежнему заполнить тишину и темноту дремой и наплывающим забвением, — молчание замершего вдали топота, полное зловещей угрозы, пересиливало дремотно-шепчущий покой.

Снова сели.

— Поисть не дадут, стервы!

— Подлый народ!.. Земли у него сколь хошь, хочь обожрись, ну и измываются над народом...

Было тихо, но ночь все не могла успокоиться, и тихий покой, и сонную дрему, которыми все было подернуто, точно сдунуло; стояла только темнота, с беспокойной чуткостью ждущая чего-то. И как бы оправдывая это напряженное ожидание, среди тьмы металлически звякнуло... Через минуту опять. Головы снова повернулись, но теперь они внимательно глядели низом в темь вдоль берега.

Снова звякнуло, и стал доноситься влажный, торопливо размеренный хруст прибрежного песку. И в темноте под обрывом над самой рекой зачернело, выделяясь чернотой даже среди темноты ночи. Ближе, ближе. Уже можно различить темные силуэты потряхивающих головами лошадей и черные фигуры всадников.

Они подъехали вплотную к костру, сдерживая мотающих головами, сторожко похрапывающих лошадей, сидя прямо и крепко в седлах, и концы винтовок поблескивали из-за спин.

— Что за люди?

— А тебе что?

Все трое поднялись.

Сыпалась отборная ругань.

— Шашки захотели отведать? Так это можно.. Две половинки из тебя сделаю... Что за люди, спрашиваю?

— Ослеп, что ль?.. Сторожа при барже.

— Рябов, вяжи их, дьяволов, да погоним к командиру.

Молодой казак с серым лицом, выпятившимися челюстями, спрыгнул с коня и, держа его в поводу и звякая оружием, подошел.

— Знаем мы этих сторожов. Поворачивайся-ка...

— А тебя, сволочь длинная, всю дорогу нагайкой буду гнать, чтоб не огрызался, погань проклятая.

— Связать недолго, — спокойно заговорил старик, — и угнать можно, самое ваша занятия, но только кто кашу-то потом расхлебывать будет? Нас-то угонят, а баржа доверху товаром набита, к утру ее ловко обчистят. Пароход-то придет, голо будет, как за пазухой... нда-а! Пожалуй, смекнет народ: казачки и обчистили, для того и сторожов угнали, они на этот счет мастаки...

— Бреши больше, старый чорт, — и в голосе борода-того казака послышалась неуверенность. — Погоди, Рябов... Покажь пачпорт, ты, сиволдай.

— Да ты что, али только родился, мокренский... — усмехнулся длинный. — Пачпорта обыкновенно у хозяина, ступай к капитану, он те и пачпорта даст.

Казак в нерешительности натягивал поводья.

— А этот?

— И этот сторож... водоливом на барже...

— Брешешь, сучий подхвостник... Не видать, что ль, — из городу убёг. Ага!.. Его-то нам и надо... Погляди, Рябов, може которые разбежались. Погляди, нет ли следов от костра в энту сторону.

Молодой сунул в уголья хворостинку, поддержал, пока вспыхнул конец, и, наклонившись и освещая, прошел несколько шагов, внимательно вглядываясь в песок, по которому судорожно трепетали тени.

— Нету, оттуда следы, как раз из города шел.

— А-а, сиволапые, отбрехаться хотели, люцинеров укрывать. Погодите, будет и вам, не увернетесь! А между прочим, Рябов, обращай-ка этого.

— Вережки-то нету.

— А ты чумбуром, чумбуром окрúг шеи. Погоним, как собаку.

Молодой взял свободный конец свешивающегося от уздечки длинного ремня, за который водят лошадь, и подошел к наборщику.

— Ну, ты, паскуда, повернись, что ль.

Тот оттолкнул его, пятясь назад.

— Пошел ты к чорту!..

Металлически звякнул затвор. Наборщик невольно поднял глаза: на него глядело дуло винтовки, целился с лошади бородач.

— Ежели еще шаг, на месте положу!..

Рябов накинул на шею чумбур и стал завязывать петель, бородач закинул винтовку за плечи. Рабочий равнодушно и устало глядел во мглу над рекой. Ночь стояла густая, мрачная, и давила со всех сторон, и нечем было дышать.

Старик и длинный как-то особенно переглянулись и продолжали спокойно глядеть на совершающееся.

— Завязал? Ну, садись, и айда! Да гони нагайкой перед конем.

Молодой, вдев одну ногу в стремя, взялся за луку и напряжился, чтоб разом вскочить в седло, и в темноте чернел чумбур от морды лошади к шее человека.

Дед подошел к молодому и, в тот момент, как тот заносил ногу в седло, наклонился к нему, что-то сообщая по секрету; потом тот, отвалившись от коня, прильнул к дяде плечу и крикнул перервавшимся голосом.

В ту же самую минуту длинный подошел к бородатому казаку, сидевшему на лошади, и, протягивая с чем-то ладонь, проговорил:

— Никак потерял, ваше благородие?

Казак перегнулся с седла, разглядывая, и вдруг почувствовал, как с железной силой толстая змея обвила шею. Он мгновенно толкнул ногами лошадь, чтобы заставить ее вынести, но другая змея, такая же толстая, с такой же железной силой обвилась вокруг поясницы, и огромная лапа из-за спины сгребла поводья и так натянула, что лошадь, закинув голову и приседая на задние ноги, пятилась и уперлась задом в обрыв.

— О-го-го!.. Ссво...о...лочь!.. Ря...бов... ссу...ды...

— Нни...чего... дя...дя...

— По...го...ди, я... тте ша...шшкой!

— Го...жу... Ва...лись-ка!..

Они тяжело, прерывисто и хрипло обдавали друг друга горячим обжигающим дыханием, лошадь билась под тяжестью двух людей, и с обрыва на них сыпалась глина и ссохшиеся комья.

— Ого-го-го... Рря...бов...

Казак изо всех сил старался выпростать руку и все искал головку шашки, но облапивший его дьявол с нечеловеческой силой ломал спинной хребет, и, несмотря на отчаянное нечеловеческое напряжение, бородач тяжело,

грузно гнулся с седла. Уже поднялись тускло поблескивавшие стремяна на раскорячившихся ногах, уже под брюхо бьющейся лошади лезет взмокшая от пота голова. Что-то хрустнуло, и под вздыбившейся лошадью ухнула земля от тяжко свалившихся тел.

Ночь невозмутимо и мрачно стояла над ними, дожидаясь, и в ее тяжелой тишине лишь слышалось хриплое дыхание да задавленные стоны, а проклятья и брань застревали в бешено стиснутых зубах.

Лошадь почувствовала свободу и, наступая на конец волочившегося по песку поводка и низко кланяясь каждый раз головой, пугливо побежала прочь от того места, где тяжело ворочался черный ком.

Дед с освободившимся наборщиком туго вязали молодого, беспомощно лежавшего на песке.

— Эй, давай-ка, чумбур!.. — хрипел длинный, наступив на грудь задыхающегося казака.

Дед с наборщиком поймали лошадь, подбежали к лежавшему на песке хозяину, и в захрустевшие в суставах руки жестко впился ремень.

— Фу у, дьявол, насилу стащил, еще бы трошки, вырвался бы, лошадь увезла бы. Ну, давай же молоко доедать, никак не дают повечерять... Возжакайся тут с ними, с иродами.

IV

Они сели в кружок, веселые, торопливо дышащие, отирая потные лица, и снова принялись за ужин.

— Ну, этот молодой и крикнуть не поспел, как дедушка его зараз на песок.

— А этот — здоровый, откормился кабан...

— Ишь, а то за шею... ах ты, моченая голова!..

Подбросили хворосту, и костер, совсем было задремавший, снова глянул, и снова засуетились по песку тени. Неподвижно лежали связанные казаки, и неподвижно стояли над ними лошади, понутив головы.

— В прошлом году стояли тут на перекате, — заговорил длинный и, отложив ложку и отвернувшись, шумно высморкался, придавив ноздрю пальцем, — так гроза делалась, н-но и гроза! Мимо шар си-иний пролетел, так и отнесло меня духом сажени на две. И вдарился этот шар

в дерево саженьях в пятидесяти по берегу, — от дерева лишь пенек остался, ей-богу!

— Прощлое лето грозное было, в городе два дома спалило.

Бородатый казак понемногу приходил в себя от изумления, от неожиданности всего совершившегося и, сам себе не доверяя и скашивая глаза, оглядывал, что мог, в своем положении. Да, он лежал, туго связанный чумбуром, над ним стояла лошадь, а те преспокойно таскали кислое молоко, белевшее у них в ложках. Рябова не было видно, он лежал у него за спиной.

— Да вы что же это, пропойцы сиволапые, али головы вам своей не жалко, али обтрескались?

— Как не жалко, — жалко, — усмехнулся длинный, — потому и связали вас.

— Да вы что же думаете, нас двое, что ли? Там целая сотня стоит, патрули разве везде ездют... Завернут сюда, тут уж вам беспременно расстрел... Развязывай зараз!

— Да за что же нам расстрел, ежели никаких казаков у нас не будет?

— А ты бреши, да не забрехивайся. Слышь, зараз развязывай!.. Мать вашу...

— За что же расстрел, ежели казаков у нас не будет? — невинно продолжал длинный. — Ты трошки потерпи, зараз поедим, коней ваших расседлаем, в штаны вам и за пазуху песку насыпем, да и в реку обих.

Воцарилось гробовое молчание. У казака глаза сделались круглыми, и даже в темноте белели белки. Он стал часто и трудно дышать и, пересиливая себя, проговорил глухо:

— Не пужай, не испужаюсь... Казак — не иголлка, все одно дознаются... Лошадей не утопите, по лошадям и до вас доберутся.

Длинный весело загоготал, и так же весело откликнулось ему из-за реки.

— Мели, Емеля, твоя неделя... Об нас не тужи, становишничек... Лошадей мы расседлаем, седла вам на шею для верности; они чижолые, не всплывете, а лошадей выведем в степь, сымем уздечки, ухнем, только их и видали, так и пойдут писать по степи. А в степи им, брат, хозяева зараз найдутся. К хутору прибьются, кажный с привели-

ким удовольствием приبلудную лошадь возьмет для хозяйства. А нет, так конокрады бесперечь по степи ездют, обрадуются дареному коню, зãраз обратают. Так-тося, станишничек...

Замолчали. Ночь над казаками стояла густая, черная, полная предсмертного ожидания и не ждущая пощады... И вдруг среди неподвижной, грозно молчащей мглы раздалась хлюпающие, переливающиеся, прерывистые, воющие звуки, как будто выл молодой волк, подняв морду. Бородач насупился и, скосив глаза, следил, как носили ложки с молоком. Делали это не спеша, умирать ведь не им, и страшно было спокойствие этих людей. А волчьи прерывистые ноты раздирали ночную тишь, испуганные носились над рекой и горькими, рыдающе-воющими отголосками пропадали в сумрачно и неподвижно раскинувшейся степи.

— А-а, жїдок на расправу, а людей неповинных, беззащитных убить али искалечить — это ты можешь. Как с-собаку за шею привязал. Не то, что там за руку али за пояс, а за шею, а-а!..

Бородач стиснул зубы и процедил:

— Не вой, сволочь!..

Но волчий вой все носился у него за спиной, и над рекой, и над степью. И бородач с напряжением следил за спокойно ужинавшими людьми и одного только мучительно, с замирающим трепетом хотел, чтоб никогда не кончилось это молоко, — но глубже опускались ложки.

— Братцы, — заговорил он глухо, — отпустите...¹

— Вишь, паренек, — заговорил спокойно старик, — ехал ты убивать и калечить людей, ни об чем не думал, а теперича сам лежишь и ждешь. — И, забрав с ложки губами и вытерев усы, продолжал: — Да-а, придет время, так-то и народ нежданно-негаданно подымется, и будете вы лежать и ждать, и будете удивляться, и душа у вас смертно заскорбит и возопиет: эх, кабы воротить, по-иному бы жили.

— Служба наша такая, разве мы от себе... У меня дома хозяйство, семья, тоже скучаешь, сладко ли по степи шаландаться...

¹ Дальше эпизод был выброшен царской цензурой. — *Ред.*

— Что служба!.. Ежели тебя служба заставит образа рубить, али будешь?

— А как же! Потому присяга престол-отечеству... — и ему чудилось, как проворно убегает время на этом пустынном, темном, молчаливо ожидающем берегу, — и уже с самого дна берут опускающиеся ложки.

— Присяга!.. — голос старика зазвучал желчью. — Присяга!.. Вот она, присяга, — и старик вдохновенно поднял руку: — перед святыми звездами, перед ясным месяцем, перед темным лесом, перед чистой водой, перед зверем лесным, перед птицей полевой, перед человеком, потому жисть — она человеческая, а не перед попом волосатым, ему абы хабары. Вот она, присяга истинная! Вот кому присягали мученики. Вот кому должен присягать всякий, у кого душа не в мозолях... А вы, несчастенькие, замозолилась у вас душа, тыкаетесь, как слепые щенята... Жисть, вот она, кругом, — он широко повел рукой, — ей присягать надо, а не попу, а вы ее топчете конями, да колете пиками, да рубите шашками, да бьете из ружей... Ишь, пустил пулю, куда она полетела?..

Темно и неподвижно было кругом. Не было ни живой, говорящей смутным говором в темноте воды, ни смутно прислушивающегося леса за рекой, ни пропадающего в двух шагах берега. Зато с отчетливостью меди краснели в темноте озаренные профили лиц сидевших вокруг костра, — только это и было.

Казак не мог оторвать от них глаз. И чем больше глядел, тем большей силой наполнялись они. Сидели они, как будто отлитые из меди, неведомые богатыри темноты и ночи.

— Охо-хо! Жисть-то она человеческая! — проговорил старик, положил ложку, отер залезавшие в рот усы, потом опять взял и стал неторопливо носить от горшочка к волосатому, заросшему рту, — и казак не отрываясь следил за ней, белевшей. — Как она выходит... К примеру, по хозяйству сколько заботы примешь: с плугом ходишь, землю месишь-месишь... Потом сердце изболится, покуда щетинкой зеленой пробьется, да все на небо поглядаешь, дожжичка просишь. А там перышко выгонит, да пойдет в трубку, да в колосок, да нальется, а ты все ходишь округ нее, округ пшенички, округ травки-то...

— ...Звезда покати́лась, — проговорил длинный и рыгнул.

Казак повел глазом и увидел темную реку, без счету полную дрожащих звезд, услышал смутное лепетание сонной воды, но все это точно отодвинулось от него, словно это прошлое стояло перед памятью, — прошлое, в котором и семья, и хозяйство, и привычная, вросшая в самое сердце степная работа, — все это в прошлом, а настоящее — это темь, и в темноте у костра медные озаренные профили людей.

Лошадь стояла, горестно опустив голову, с печально отвернутыми ушами. По реке удалялось тилиликанье невидимо махавшей над водой ночной птицы.

Старик помолчал, глядя из-под седых насупленных бровей за реку, где смутно чудился лес.

— Травка растет — ты ее побереги; прут гонит из земли — ты его обойди, не сломи... Человек — ништо, он дешевле пшеницы, подумай-ка, живой ведь он, и вон звезды-то, звезды-то всем одинаково светят, а ты приехал тиранить да убивать, да в тюрьму сажать. Присяга!! Нет больше присяги, как жисть человеческая, — самая дорогая, братику, присяга. Вот ты ехал, думал: сила ты, — ан теперя сам лежишь и ждешь...

Казак, закусив губы, с нечеловеческим напряжением напрягся, но сиромятные ремни только глубже въелись.

— Братцы! — заговорил он, отдаваясь бессилию. — Братцы, али я...

Лица ужинавших зашевелились, и костер полностью озарил их, — и столько было в них спокойной решимости, что казак отвел глаза. Вытерли ложки, спрятали... и подошли.

Весь сегодняшний день промелькнул перед казаком, и с поразительной отчетливостью все встало в том роковом порядке, в каком привело его сюда, к гибели, к бессмысленной смерти. С тоской прислушался: тревожно металась за спиной воюющие причитания, из степи не доносилось ни звука. Да и кто мог подъехать? Не было спасения, не было пощады, да и не могло быть, потому что он сам их не щадил.

И это молчание было страшнее смерти. Он вслушивался — вслушивался, болезненно напрягаясь. И вдруг услышал: неслось бесчисленное треньканье кузнечиков, то

самое треньканье, что всегда наполняло живую степь и теперь звучало последним прощанием:

Должно быть, к Рябову уже приступили, потому что воящие причитания торопливее и тревожнее неслись отсюда и вдруг смолкли.

У бородача екнуло сердце. Над ним нагнулся длинный и стал возиться с ремнем. И ремень ослаб и выдернулся. Казак быстро поднялся. Рябов, прыгая на одной ноге и звеня оружием, сел в седло. Наконец вскочил, лошадь пошла карьером и скрылась в темноте.

— Ого-го-го!.. Ноги в зубы взял, — смеялся длинный. — Вали, дядя, и ты!

Казак, сдерживаясь и едва справляясь с охватившей его радостью жизни, наружно спокойно подошел к лошади, попробовал подпруги, потом сел и тронул поводья.

— Прощайте, ребята!

— Прощай, паря...

Лошадь не спеша пошла рысцой, хрустя влажным песком, и ночная мгла постепенно поглотила ее.

Попрежнему сонно колебалось дремотное шептание струи, и из темной воды глядело бесчисленными звездами ночное небо.

— Ну, теперя хоша и спать.

— Котелок надо побанить.

И длинный усердно стал оттирать песком, нагнувшись над водой, внутренность котелка.

— Одначе, они тягу дали.

— Помирать никому не хочется.

— Исажары как высоко. Поздно... О-о-ха-ха-ха!..

И по реке кто-то, сонно и замирая, много раз зевнул. Тишина стояла в степи, над рекой, над чудившимся во тьме лесом, навевая чувство покоя, отдыха.

— Тебя как звать-то?

— Алексей.

— А по отцу?

— Николаич.

— Ну, вот что, Миколаич: полезем на баржу спать, там у нас и солома есть. Нешто искупаться перед сном?

— Доброе дело.

Они подошли к самой воде, чуть колебавшейся тем-

ным, густым отблеском масла и живой, изменчивой линией, отделявшей от неподвижно темневшего берега. Стали раздеваться, и разом руки застыли у поясов, а головы повернулись к обрыву.

— А?

— Неужто?.. — коротко и подавленной тревогой прозвучало.

И головы все так же напряженно были обращены к степи: оттуда, все делаясь отчетливее и нарастая, неся приближающийся топот. И опять слышно было, что там земля иссохшая, крепкая и звонкая, и это почему-то вселяло особенное беспокойство. Тревога, как невидимая черная птица, реяла в нахмурившейся ночи. Только старик, не обращая внимания, попрежнему копался в лодке.

— Эхх!.. — досадливо крикнул длинный, завязывая пояс. — Сказывал, не выпускать... Теперь расхлебывай... Ишь, карьером лупят, спешат, кабы не упустить.

— На ту бы сторону, что ли, переехать, — проговорил Алексей, и тоска зазвучала в его голосе.

— Ничего, ребята, ничего, — спокойно проговорил старик, продолжая копать.

Вот уже близко, уже над самым обрывом, потом звуки смягчели и пошли влево — в объезд поехали к спуску. Несколько минут стояла ненарушимая тишина. Потом стал доноситься, приближаясь, мокрый хруст песка. Двое не отрываясь глядели в ту сторону.

— Эхх!.. — все досадливо чмокал длинный. — Зря отпустили.

Вырисовался среди темноты силуэт лошади. Рысью подъехал бородач и, сдержав разгоряченного коня, заговорил:

— Вот что, ребята... перегоните зараз баржу на ту сторону, а парень нехай уходит через лес... Энта стерва поехал докладывать командиру сотни... Хотел перестрелять вас отсюда, с обрыва, насилиу уговорил... Сказываю, дескать, живьем надо взять их. А тоже мне наседать-то на него не приходится: зараз доложит, что люцинеров покрываю... Смотрите, к утру взвод пришлют, туго вам придется...

— Ххо-о!.. Часа через два пароход придет, к утру нас и след простынет.

— А-а, ну так... То-то, я думаю, ворочусь, скажу... Ну, прощайте!

— Счастливого, дядя... Спасибо тебе...

— Спасибо и вам... — он придержал немного коня. — Тоже и у нас — не пар, ну, положение такое. А старик у вас — правильный человек.

Лошадь ходко пошла. Некоторое время из степи доносился удаляющийся топот, потом смолкло. Над чертой обрыва свободно, не затеняемые, играли звезды, играли по всему небу, играли в темной глубине реки...

1907

СО Д Е Р Ж А Н И Е

На плотях	3
Стрелочник	13
Маленький шахтер	28
Семишкура	40
Инвалид	47
Сцепщик	60
Ледоход	73
На берегу	83
В бурю	96
Заяц	111
Бомбы	129
Похоронный марш	138
Сопка с крестами	144
Зарева	163
У обрыва	179

МАССОВАЯ СЕРИЯ

Редактор *В. Фридлянд*
Художественный редактор *Н. Мухин*
Технический редактор *М. Позднякова*
Корректор *А. Сабадаш*

*

Сдано в набор 27/VIII 1952 г.
Подписано к печати 15/X 1952 г. А 06851
Бумага $84 \times 108^{2/32} = 3,1$ бум. л.—10,25 печ. л. Уч.-изд. л. 10,1
Тираж 150 000 экз. Заказ № 1524. Цена 2 р. 50 к.

*

3-я типография «Красный пролетарий» Главполиграфиздата при Совете Министров СССР,
Москва, Краснопролетарская, 16.

2 р. 50 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

1953